

— ВЛАДИМИР ТИТОВ —

ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ

—



Владимир ТИТОВ
Хождение за три моря

«Языки Славянской Культуры»

2025

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Титов В. А.

Хождение за три моря / В. А. Титов — «Языки Славянской
Культуры», 2025

ISBN 978-5-907498-89-1

В этой книге автор пытается взглянуть на жизнь, их личную и на мироустройство в целом, глазами своих героев. Это совсем разные люди, живущие в разных городах, странах и континентах даже: художники, музыканты, литераторы, деревенские жители и просто случайные знакомые, порой неожиданно эксцентричные, с витиеватыми судьбами, а то и непонятные, как знак вопроса.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-907498-89-1

© Титов В. А., 2025
© Языки Славянской Культуры, 2025

Содержание

Хождение за три моря	6
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Владимир Титов

Хождение за три моря

© В. А. Титов, текст, 2025

© Издательский Дом ЯСК, оригинал-макет, 2025

* * *

Хождение за три моря

Уже прошел первый контроль, толпа засасывает вглубь зала, а она все стоит, ныряет глазами по мятущейся толпе, не теряя чтоб из вида. Новый кордон сгрудил толпу, каша прыгающих голов: снимай верхнюю одежду, выворачивай карманы. Подгонялы просят не задерживаться, проходить вперед. И все ж оглядывается и видит в толпе кусок рыженькой ее шубки, лицо, пятном просто, но он знает, видит – тревожные, ищущие глаза. Он поднимает руку и долго машет – может, заметит, – да, поднимается над толпой маленькая ручка, заметила. Паспортный контроль: теперь влево вдоль стеклянной стены, и наконец движущаяся лестница забирает вниз, окончательно отделяет его от ТОГО мира. Перед пастью эскалатора задерживается, не надеясь на чудо, оглядывается и с трудом, едва замечает – стоит... До конца, до последней возможности увидеть.

А минут тридцать назад ткнулись в друг друга, вроде как наспех, попрощались. «Вот так вот, – думал Тимофей, – и скроилась жизнь из таких вот прощаний-свиданий».

А вдруг вот так все оборвется и не увидеться никогда?.. – Нет, не может такого быть. Это всегда будет.

И хотелось кинуться назад, схватить и не отпускать. И зачем все это, кто тебя гонит. Но по-другому, он знал, не получается. По одну сторону – самые родные существа (когда встречали, разом, и дети и она висли на нем; дети с визгом, она молча, уткнувшись носом), по другую – тот край, без которого невозможно существование.

* * *

Ну и как это понимать? И злость уж прошла, голод притупился, недоумение вот не уляжется никак. Приглашал к шести. От работы ей пешком, если на каждом шагу рот раскрывать, – минут пятнадцать.

В начале десятого подогрел остывшую давно фасоль, в большую миску алюминиевым с зазубринами половником налил до краев, посыпал зеленью; масла подсолнечного добавил; без аппетита стал есть. А ведь три часа назад казалось, сотворил чудо кулинарное.

Было за ним такое. Откроет для себя что-то новое, и уж кажется, что и всему миру это так же удивительно. Лет семь назад обратил внимание на красоту форм любой совершенно посуды: будь то бутылки, чашки фарфоровые, самые простецкие тарелки в столовке, – везде форма, которой можно любоваться. И ко дню рождения преподнес матери огромное, купленное в антикварном магазине за немалые деньги фарфоровое блюдо, которому мать не могла найти не только применения, но и места.

Недавно он полюбил фасоль (в детстве так от одного запаха воротило), и теперь думалось ему – нет вкусней блюда; и, пригласив свою новую знакомую на ужин, хотел удивить.

Женщины вообще-то его вниманием не баловали. Была у него школьная любовь, которая, впрочем, и обратила на него внимание лишь за то, что заметила, как он на нее глаза вытаращил. И, когда всем вокруг стало это видно, друг его, первый в школе красавец, из озорства просто, подмигнул ей, и она кинулась к тому на шею. И он понял, что с такой внешностью (никакой) ожидать особенно нечего. Были потом, во взрослом уже возрасте разные мимолетные увлечения; и красавицы там были, но все как-то глупы и никчемны. Трудно было представить, что с кем-то из них мог он связать свою жизнь.

А эта... Делась-то куда? Испугалась, может? Предыдущую подругу нужно было встречать на улице; одна категорически отказывалась подниматься на чердак восьмиэтажного дома

пешком по черной лестнице с дикими кошками в полной тьме. А гости, приходившие впервые, пройдя пару пролетов, возвращались, считая, что ошиблись, – не может тут никто жить.

Около двенадцати улегся спать. Разбудил стук в дверь. Сначала вкрадчивый такой, извинительный, затем бесцеремонный. На часах начало второго. «Господи, спал-то как сладко».

Она улыбалась, весело, беззаботно.

– А я в гости зашла тут рядом, через бульвар.

Сняла шубу и из сумки достала маленькие голубые тапочки.

– Ты что, везде со своими тапочками ходишь?

– А что же я, три дня в сапогах тут сидеть буду?

– Вообще-то я приглашал на ужин, к шести. Какие три дня?

– Завтра суббота, воскресенье, и в понедельник у нас праздник.

– Какой?

– Религиозный, не знаю, как по-русски называется, у нас это нерабочий день.

* * *

Зима семьдесят девятого била все рекорды. Температура опускалась ниже сорока. День на чердаке начинался с того, что надо было выскоблить лунку в окне, чтоб пробился свет через иней толщиной с палец. Теперь можно работать.

У детей обычно, пока подрастут, двадцать раз меняются планы в выборе профессии. Чуть постарше всерьез ломают голову, куда податься. Тимофей ни в каком возрасте не задавал себе таких вопросов. Он знал – он художник, вот и все. А из стремлений – лишь стать художником хорошим. Я художник-любитель (любимый каламбур) – я влюблен в искусство. Никаких других интересов не было. Имущество всего – рабочие материалы да одеяло с подушкой. Угла своего тоже не было, прыгал по Москве как заяц, и это ничуть не тяготило. Ощущал даже некую легкость – весь мир принадлежит ему: штаны подтянул, пошел дальше. На новом месте устраивался по-солдатски: вошел, глянул, откуда падает свет, куда холст ставить, – готово, ты дома. Как-то пришлось заселяться ночью. Район новостройки. Новый дом даже не заселен полностью. Квартира пустая, первый этаж, и мороз жгучий, да с ветром, и казалось, дом пронизывал насквозь. Завалиться спать на полу, что в общем было привычно, не решился. По полу не сквозняк даже, а уличный свистал ветер.

Нет кровати – сделай. Напротив стройка. Забор, корявые, нетесаные доски – горбыли на профессиональном языке, где через одну, где кучей, наспех сбитые, чтоб только ветром не растрепало. Оторвал несколько досок, набрал десятка два кирпичей, поставил четыре столбика, накрыл горбылем – вот и койка.

Чердак же достал ему Витька-милиционер. Витька, этот самый, был художник – хороший, надо сказать, художник. С внешностью громилы, которых хочется обойти стороной в темном переулке; весь какой-то темно-косматый, длинные всклокоченные волосы соединялись с такою же бородой, оставляя лишь глаза. И те тоже тяжелые, страшные; даже когда улыбается, в них что-то роится тайное, а прямой взгляд вынести просто трудно. И вот это-то страшилище писал чудные, нежные цветы. Мастерская его в старом доме, занимавшая весь этаж, была напротив центрального рынка, и круглый год, зимой и летом, повсюду стояли живые цветы, и на холстах они цвели не хуже.

– Тебе надо к Витьке-милиционеру, он найдет тебе место... – сказали знающие люди.

Витька действительно в недавнем прошлом был самым настоящим ментом. Приехав учиться из далеких зауральских краев, окончил институт и, чтоб без проблем остаться в Москве, поступил в милицию. И прослужил там, пока не приобрел неплохую квартиру, женился к тому времени, но самое примечательное, используя многочисленные связи (хваткий

был парень) по ментовской линии, многим художникам и себе, конечно, устроил прекрасные мастерские.

К двум часам, как было назначено, Тимофей поднимался к Витьке на второй этаж. В пролете между этажами у окна, облокотившись на подоконник шириной с кровать, стоял маленький человечек.

– К Витьке?.. Его еще нет, я тоже жду.

Тимофей остановился. Человек запрыгнул, уселся на подоконник.

– Сыграем? Когда-то он еще придет. – В руках колода карт.

– Не, я не играю.

– Да просто время чтоб провести, давай, – и назвал неизвестную Тимофеею игру.

– Да я не умею.

– Я покажу, это просто. Играть не будем, просто покажу тебе, увидишь, как это интересно. Вот смотри: раздаю – тебе, себе. Теперь, допустим, я ставлю две копейки, ты тоже две. Показываешь, я тоже – у тебя больше, ты выиграл, как в покер. В покер играешь?

– Да нет, я вообще не играю.

– Да это же интересно, смотри, например, ты можешь сделать так. – Энергия не помещалась в его маленьком теле, вот-вот разорвет на куски; слова захлестывали мысль, получалась каша, и сам весь такой вертлявый, как червяк. – Ставишь ты, допустим, рубль, а я должен уже минимум три.

Тут он вытащил из кармана трешку и повертел под носом.

– Но ты теперь должен поставить... – Теперь смотрим карты. – Я выиграл, с тебя семьдесят пять рублей.

– Кому тут семьдесят пять рублей? – Витька поднимался по лестнице. – Ты что тут, будешь друзей моих обирать? Не вздумай ему ничего давать (Тимофеею). – И вертлявому: – Следующий раз замечу твои фокусы, с лестницы спущу.

Вертлявый прикусил язык.

Непонятно, какие у них были дела, но они так и не сказали друг другу ни слова.

Витька водил Тимофею по комнатам, показывал картины, штуковины всякие занимательные. Появился новый гость. Раздувшийся во все стороны бегемот в форме полковника милиции. Дышал тяжело, ступал медленно, говорил степенно, снисходительным тоном и лениво улыбался.

– Витек, опять эта... с верхнего этажа жалобу на тебя настрочила – «шумишь», пишет. Может, определить ее на пятнадцать суток? Она как, выпивает?

– Не, совсем не пьет.

– Ну ты зазвал бы ее, налил там наперсточек, а мы оформим.

– Да нет, с ней не договоришься.

– Ладно, разберемся, не твоя забота. О, достал-таки! – Глазки вспыхнули, полковник взял в руки страшный кривой нож.

– Я ж обещал, настоящий таджикский, а тяжелый какой; сталь, сталь, обрати внимание. Из Душанбе привезли.

– Уважил, уважил, благодарю.

Тут Витька дернул Тимофею за рукав, потащил в соседнюю комнату.

– Значит, так, за мастерскую с тебя семьсот рэ. Выбирай, кому платить будешь. Можно вот этому, прямо сейчас, или начальнику ЖЭКа, завтра.

Нет уж (чур меня). Тимофей глянул в сторону соседней комнаты.

– Лучше уж начальнику, завтра.

Выйдя на улицу, Тимофей не сразу и заметил, откуда-то из-под руки возник вдруг вертлявый, пристроился рядом.

– Так это... должок за тобой.

- Какой должок?
- Карты дело святое, надо отдавать.
- Послушай, мы с тобой не играли, ты просто показывал игру, все.
- Как это? Я ж тебе и деньги показывал.
- Но я тебе ничего не показывал.
- Неважно, долг есть долг.

Он забегал то слева, то справа; семенил за Тимофеем, забегал вперед, заглядывал в лицо.

– Ладно, давай так, – предложил вертлявый. – Идем сейчас в магазин, ты берешь литр водки, мы его вместе выпиваем, и мы в расчете. Идет?

Тимофей мог бы послать его в самое дальнее место, но понял, что прилипало будет ходить за ним целый день или месяц.

В магазине была небольшая очередь, вертлявый сразу оказался первым. Взяли две бутылки. У магазина оказалось маленькое кафе-стекляшка. Взяли закуски, сели.

– Ты понимаешь, – начал вертлявый, – я игрок, профессиональный игрок. (Одну бутылку он сразу (слава Богу) засунул в боковой карман, другую откупорил.) Я и шофером на автобусе работал, и таксистом, я ж рабочий класс. Но все бросил, играю только. Иногда за день у меня появляется такая куча денег, сколько работяга не видит и за полгода. А на следующий день – опять ноль. Я уж два года, как в Израиль собрался: нужны деньги, заплатить там за всякое такое. Так не могу никак донести, выплывают из рук. Держу вот кучу эту, а донести не удается.

* * *

И теперь, в самолете, Тимофей, вспоминая этот эпизод, думал: «А многим ли я отличаюсь от того смешного человечка».

С чего вообще это началось? Может... Тимофей никак не мог соединить обрывки памяти в цельную мысль. Почему-то вспомнилось, как пришли к нему домой «агитаторы».

Живя в России, он ни разу не ходил на выборы. Ах, да: терпеть не мог, когда выставляют его дураком.

– Вы на выборы собираетесь? – спрашивают. – Вечер уже.

– Я занят, – отвечал Тимофей.

– Но как же, выборы ведь.

– Какие выборы? Вот когда в столовой я смотрю меню – вижу: на первое – суп куриный, солянка, борщ, суп гороховый, – вот я выбираю. А если предлагается только гороховый суп, какой тут выбор? До свидания.

И выпроводил гостей.

Вечная эта борьба за независимость. Вечный страх, как бы не попасть в положение, где могут тебя унижить, даже если никто этого не видит, не поймет, т. е. быть униженным перед самим собой. А может, где-то он неправ. А не гордыня ли это? Известно ведь, по христианским понятиям, гордыня – страшный грех.

Вечером с Николь сидели на чердаке, она приходила теперь часто. Пришла знакомая художница. Разговор повернулся в сторону образа существования его, Тимофея.

– Ты вот, – говорила подруга, – живешь тут на птичьих правах, из профсоюза тебя выставили, т. е. ты никто. А на следующий год в Москве проводится олимпиада, и поговаривают, что, безопасности ради, Москву подчистят от всякого рода подозрительных элементов: бродяг всяких, алкашей и прочих антисоциальных личностей. Перетрясут весь нежилой фонд города – тебя это напрямую все касается, – очистят все незаконно занимаемые площади. Тебе надо срочно поступить в Союз художников.

– Вот, слушай, что тебе знающий человек говорит – Николь.

Тимофей расхохотался.

– Я хочу прожить жизнь, жизнь художника прежде всего, вне всяких обществ, союзов-профсоюзов. Рембрандт в каком союзе состоял?

– Ты еще древних греков вспомни.

– А что, хороший пример. Человек, художник тем более, сам должен определять себя как личность, а не корочкой идентифицировать свое «я».

Он только избавился от опеки одной организации, чтоб влезть в другую?.. Была такая странная профсоюзная организация, объединявшая художников, трудившихся в полиграфической индустрии. В социалистическом обществе все должны были трудиться, хотя бы формально. Когда Тимофей – было такое время – работал внештатным художником по московским издательствам, его и воткнули в этот профсоюз. Таким образом, Тимофей приобрел статус трудящегося. Потом там появились живописцы: записали в организацию (организовали) шлявшихся до того по улицам неприкаянных одиночек, и организация вконец запуталась в своем определении.

Удивляло Тимофея другое. Как солидные художники почтенного возраста, недавно совсем беззаботно расхаживающие по улице, теперь с прикрученными хвостами лебезили, заглядывали в глазки и называли толстомордого мальчишку (он таким и был по возрасту) по имени-отчеству – назывался он, кажется, «председатель», – в то время как тот незаконно занимал свой пост. Он не был художником, стало быть, и не мог быть членом этого профсоюза, а уж председателем... – это выборная должность, этого же просто прислали из совсем другой организации.

Тимофей никогда не ходил ни на какие собрания и, если по крайней надобности оказывался в этом заведении и издали даже видел начальство, испытывал жгучее унижение. А столкнувшись, скажем, в коридоре нос к носу, демонстративно не здоровался. Незаконно существующий предмет – не существует.

Николь:

– Тим, Таня права, надо тебе в этот союз поступить.

– Во, во, объясни ему, Николь, выселят дурака на сто первый километр, и будешь сидеть там.

– А что, на сто первом люди не живут?

Николь, конечно, слабо разбиралась в ситуации, воспринимала предостережения доброжелательной подруги буквально. Тимофей видел в этом очередное унижение; опять где-то на привязи состоять...

Разговоры о несвободе творчества Тимофей всегда считал глупостью, если не надуманно-спекулятивными. (Были художники, которые приносили на выставки или для вступления в союз, где существовали свои требования, – заведомо непроходные работы, чтоб получить соответствующие дивиденды.) Кто может связать по рукам и ногам мысль, чувства?.. А вот независимость, независимость от организаций, объединений всяких, дворовых команд и т. д. и т. п. – табуниться он не любил.

Через много лет любопытную вещь, врасплох заставшую Тимофея, поведал, а точнее, вlepил прямо в лоб, заставившую задуматься, старый приятель. Тимофей вспоминал, как его изгнали из того самого профсоюза.

Дело было так. Небольшая группа – семь-восемь художников – решила устроить выставку на квартире. Профсоюзное же командование посчитало неправомерным проведение несанкционированных таких выставок. И разговор шел не о том, насколько это нелепо и унижительно. Тимофей не мог до сих пор понять – ПОЧЕМУ?

Всех участников выставки пригласили на собрание. Тимофей и тут не хотел идти, друзья уговорили. На собрании осудили этот акт и постановили вопрос об исключении из рядов профсоюза – почему-то! – Тимофея, его одного? Чем отличался он от других, сказано не было,

но только его посчитали лишним. Без тени сожаления Тимофей покинул это заведение, но недоумение и загадка остались.

– Я ведь, – говорил Тимофей, – не участвовал ни в каких сомнительных акциях, ни в скандалах никаких не был замечен, ни даже в каких-либо спорах, я не был причастен ни к каким группировкам: ни творческим, ни каким-либо иным.

– Вот за это тебя и выставили – за независимость, – сказал приятель.

Оборона против посягательств на его свободу доходила порой до циничных выходов. В тот раз и подруга Татьяна, и Николь уговорили-таки, и он поступил в Союз художников. Оказалось, это совсем несложно. И сама процедура была простой и демократичной. Назначена была дата заседания приемной комиссии. Надо было представить несколько работ, и по оценке комиссии выносилось решение.

А как собрались они в Париж и какая-то глупая баба посоветовала взять визу к жене в гости (опять глупость), пришлось обращаться в этот союз за кучей разных бумаг, тогда как простая виза на выезд никаких бумаг не требовала.

По бюрократическим законам, чтоб отправиться в заграничное путешествие, необходимо было представить характеристику с места работы (для художника – из творческого союза). Пришла та же подруга Таня, сказала:

– Характеристику, Тим, тебе не дадут.

Выдавать характеристику должны были на очередном заседании какой-то комиссии.

– У меня подруга, – продолжала Таня, – несмотря на молодые годы, солидный в правлении занимает пост. Вот она и сказала, что между собой уже решили характеристику тебе не давать.

В назначенный день Тимофей все-таки пришел на заседание. Войдя в зал, когда пригласили, увидел длинный, прямо свадебный стол, за которым восседали бородатые старцы. Насупленные и строгие. Те, что помоложе, затертые где-то на задах. Сесть Тимофею не предложили, он остался стоять, как подсудимый. Сидевший во главе стола, главный видимо, старец поднялся, сухо сказал:

– Вы просите характеристику, мы решили вам отказать, так как сказать о вас нечего. На творческие дачи вы не ездите, на выставках наших не участвуете, так что извините...

Тимофей:

– Так вот это самое и напишите: такой-сякой, нигде участия не принимает и т. д. Мне-то она ни к чему, характеристика, ее требует учреждение, выдающее визы.

– Такой характеристики мы дать не можем.

Старец явно начинал нервничать. Не ожидал наглой такой настойчивости. Начинался нелепый уже разговор. Наглецу указали на дверь, а он уперся, рассуждает стоит.

– Хорошо, – чтобы как-то разрулить ситуацию, сказал старец. – Перенесем этот вопрос на следующее заседание, которое состоится семнадцатого октября. И мы предлагаем вам на заседание принести ваши работы, а то мы не знаем вас как художника.

Бестолковая эта полемика неожиданно вдохнула в Тимофея прилив энергии, он почувствовал себя парящим соколом.

– Хорошо, – сказал он. – Я принесу свои работы, но и вы (он ткнул пальцем в важного старца) тоже свои принесите, я вас как художника тоже не знаю.

У старика затряслись губы, бледнея, он медленно опустился на стул. Лицо потеряло всякое выражение, взгляд направлен был в никуда, и тело, казалось, расплзаться стало в разные стороны. Тимофею стало страшно жаль старика. Он молча вышел из зала.

До сих пор не проходит чувство стыда за свой концерт. И доходит тогда, что понятие милосердия не пустое слово.

Или вот еще. С центрального телеграфа позвонил знакомому художнику в Вену. Поговорили о делах, о природе, о погоде.

– Дождь идет, – говорил тот.

Тимофей вышел на улицу. Веселое январское солнце. Снег, как водится, под ногами скрипел, разговаривал. Тверской исполосован тяжелыми синими тенями. Все искрится, радуется и, как в детстве, весело, непонятно от чего. Так жалко стало этого человека под венским дождем. Как можно жить без морозного воздуха? Как же тот глуп в самом деле. И как так получилось, что себе теперь задаешь тот же вопрос?

* * *

Собрались в кино. Встретиться договорились у кинотеатра. Тимофей опаздывал, торопился. Крупно валил снег, толпы людей, машины – все превратилось в кашу. Метров за сто от кинотеатра он вдруг остановился, стал рассматривать сквозь пургу упрямое черное пятно. Николь не двигаясь стояла в своей длинной тяжелой, как скафандр, шубе. До носа подняла воротник, зажав маленькой варежкой.

Пурга кидалась в разные стороны, черное пятно смазывалось, бледнело, но оставалось на месте. И вдруг стало ясно – а ведь это с ней, с этой вот женщиной, он проживет всю жизнь.

Николь тут ни при чем. В России она чувствовала себя хорошо и не раз предлагала:

– Давай останемся жить в Москве.

– Нет, если в России, то в деревне где-нибудь (это он закидывал провокационную удочку), козу заведем, доить умеешь?

– Научусь, чего там сложного.

Пару лет до этого появилась у него поклонница. Роскошная американская дама. В Москве она работала в нефтяной компании. Сослуживец ее шутил, как говорят, на манер советского фильма: «Пэмала (так ее звали) самая красивая американка Москвы и Московской области». И надо сказать, он не преувеличивал.

В детстве занималась балетом, но что-то там не срослось. В Москве не пропускала ни одной музыкальной программы: Большой, музыкальный театр Станиславского, консерватория. Мечтательная, романтическая барышня:

– Ах, русская музыка – лучшая в мире, и итальянская.

Тимофей писал тонкие, сентиментальные картины. Пэмала увешала свое жилище этими картинами.

– Тимофей, ты изумительный художник, но в этой стране ты погибнешь. Подумай о своей судьбе.

«Боже, какие же америкаши примитивные, – со смехом думал Тимофей. – Она и впрямь думает, что занятие искусством в России дело преступное, если не выдана индульгенция неким высшим начальством».

– Мне надо серьезно с тобой поговорить. Ты удивительно несерьезно относишься к своей судьбе, к своему таланту, в конце концов. Ты редкий художник, и это требует должного выхода. Я скоро уезжаю, мой контракт с фирмой заканчивается. Поедем со мной.

По-детски горделиво показывала альбомчик с фото своего техасского дома.

– Мой дядя, – называла должность, что-то вроде (Тимофей не помнил) министра культуры штата, – это связи по всей стране: музеи, галереи. Блестящая карьера...

Тимофей рассеянно молчал, как бы не понимая, о чем речь.

– Ну хорошо, если тебе у меня не понравится, держать не стану, отпущу в Нью-Йорк, где живут все русские.

Про себя Тимофей давился от смеха, слушая всю эту дикость. Пэмала неплохо говорила по-русски: «ой, батюшки» – кстати и некстати вставляла, блеснуть хотелось неординарным знанием русского – выражение из девятнадцатого века, подцепленное, видимо, от какой-нибудь бабушки, преподававшей в их университете. Любила русскую оперу: Рахманинова, Чайков-

ского, Прокофьева. От балета просто умирала; за каждый просмотр, от волнения, теряла по килограмму веса. Но Тимофей смотрел на нее как на инопланетянку.

Смешно и дико подумать даже, чтобы он, Тимофей, даже за такими дарами, о которых мечтает каждый художник: музеи, галереи, отправился в тexasскую пустыню (к кактусам), на Гудзон или в Калифорнию. И как это будет он жить с этой прекрасной куклой?

* * *

Николь была другая, совсем своя. Не только на инопланетянку, но и на приезжую с средиземноморского побережья была не похожа. Говорила – большая редкость – без акцента. Отлично знала русскую историю, литературу русскую на уровне специалиста, а русскую грамматику могла бы преподавать в советской школе. Позже, когда Тимофей писал письма в Москву, она непременно проверяла их на предмет грамматических ошибок.

Умна, образованна, при этом никаких амбиций. Тимофею нравилось, что у нее не было ни дома, ни положения в обществе, ни даже постоянной работы. Знание языка, пусть даже блестящее, еще не профессия. Во многих случаях она была более русской, чем русские его знакомые. Так что коза в деревне ее не пугала.

Родилась в простецкой семье в маленькой деревеньке в Провансе и прожила там до шести лет. На ночь в постель ей клали завернутую в тряпку бутылочку с горячей водой, и, обнявшись с ней, она засыпала. В южных краях зимы суровые – не топят, лета ждут. Вспоминал, как мерз в миланском отеле, вполне даже приличном.

Затем родители переехали в Марсель, большой город. Детство просидела с девичьими мечтами в маленьком садике под окном с романтическими книжками. Для изучения язык в университете выбрала русский. Космонавты, ледоколы атомные, гигантские стройки и сама Россия – огромная... Русский язык был в моде.

С первого курса еще устроилась гидом и каждое лето колесила по России, сопровождая группы. объехала полстраны. Кроме старых городов Центральной России была на Байкале, на Алтае, в Армении была, в Грузии, в Узбекистане. По окончании университета год стажировки в Москве в МГУ. Там подвернулась работа в торговой французской фирме, и она осталась в Москве еще на четыре года. Работа не была связана с языком. Всех работников насчитывалось: директор (по-русски ни слова), зам. – Николь и еще три русских девицы с французским, которые весь день трещали без умолку ей в уши (по-русски, конечно).

Любопытным типом был ее начальник. На первый взгляд – человек, не умеющий улыбаться, с неразрешимой проблемой в глазах. Но непоседа. Заслышит цоканье каблучков по коридору (офис находился в большом помещении, где располагались разные учреждения), срывается с места, и нос уже торчит в коридор. Но строг.

Узнав, что Николь собралась замуж за русского, пригрозил уволить, вернее, не продлить контракт, как предполагалось. «На твой контракт мне плюнуть и растереть», – отвечала Николь. Но это было потом, а несколькими месяцами раньше забавный вышел случай. Отметим, что служебная субординация во Франции не пустой звук.

Воскресный день выдался прохладный, ветреный. Купаться холодновато, а вот прогуляться по зеленой травке за городом – в самый раз. Отправились на Москву-реку, к Николиной Горе. Место истоптанное, но удобное. Хваленый пляж кишел руками, ногами, задками отдыхающих. Не задерживаясь, пошли по реке подальше от толпы. Берег кипел цветами, бабочки всякие там, стрекозы – красота. Протопали километра три, тишина первозданная. На другом берегу коровы лениво тыкались в землю. Выскочило солнце, припекать стало. И тут маленький прогал – среди зарослей ивняка. И песочек желтенький. Искупаться зовет. Вокруг ни души, можно и безо всего, голышом.

Река оказалась неглубокой, больше бегали друг за другом по песчаной отмели. Быстрое течение слегка снесло в сторону от песчаного окошка. Николь оказалась у самого берега напротив кустов, что образовали некое подобие пещеры с выходом к воде; и прямо в упор открылась мизансцена, невидимая с берега.

В центре, по-турецки, восседал ее начальник. На голове импровизированная чалма из полотенца, по бокам три красотки – без всего – с ромашковыми венками на головах. У начальника такой же венок на шее.

Немая сцена.

Николь стояла, показывая из воды коленки.

Начальник уставился, не замечая, как шампанское из бокала льется через край...

Через пару лет Николь навестила в Москве своих подруг по работе. Оказалось, бывшего начальника ее выгнали за развал работы; он бросил жену, детей троих и женился на московской развеселой девице и чуть ли не каждый месяц таскается в Москву гулять.

А что, собственно, произошло (никак не удавалось поймать мысль, что-то маленькое, но важное ускользало), совсем недавно он думать не мог, чтоб нацелиться куда-то со своей земли.

Он вспомнил, как предлагали от профсоюза, того самого, поездку по Средней Азии: Бухара, Самарканд, Ташкент и т. д. Какие страсти разыгрались, интриги какие заплелись вокруг поездки; путевок было меньше желающих. Тимофей не выказывал особого стремления, но его включили в состав счастливых. На удивление всех, от поездки он отказался. Не мог он пропустить июньского цветения в подмосковных полях, раз в году ведь бывает. Самарканд тысячи лет стоит и еще столько стоять будет. Особенно жалко было бы пропустить васильков в пшенице. Агрессию, вторжение ультрамарина в солнечно-палевое море. Наблюдать, как меняется зелень, с яркокричащей вначале переходит в степенно-матовый, затем жухнет, делается монохромно-стальной даже, чтоб вспыхнуть перед концом золотом.

Или вот: с Козловым лезем полузаметенными тропинками. Троице-Сергиев Посад. Городок утонул в сугробах и сделался игрушечным. Постройки потеряли свою форму; с крыш свисают причудливые кренделя, снизу сугробы подступают к окнам, и те смотрятся вытарашенными глазами, закутанными бабьим пуховым платком.

Тут город опускается в низину. Домишки с прилепившимися старыми тополями, липами рассыпались по оврагу, пускают на морозе розовые хвосты из труб. За ним вырастает холм, как сказочный терем, весь в драгоценностях – лавра. Бирюзовые, золотые купола, стены, башни, колокольни: навороченные формы лезут друг на друга и вместе являют величественный аккорд. Всякий раз дух захватывает.

С мороза в пристанционном буфете берем по сто грамм. Хочется взять вкуснейших, уверен, местных пирогов, но Козлов против, говорит: «Нет лучшей закуски». И берет перламутровыми резаными кусочками селедку на черном хлебе.

Неужели такого больше не будет?

А это? Потолкавшись на открытии выставки с полчаса, оставив все эти показушные дефиле, церемониальное топтание, поклоны, бессмысленную светскую болтовню, выбрался на улицу, и неожиданное желание – в деревню. Весна, оживающий цветущий мир вокруг. Не зная расписания поездов, автобусов: не важно, как, на чем – вперед главное. Авантюрная затея призраивает крылья. Заскочил в электричку, не зная даже, до какой станции идет. Конечная оказалась где-то на полпути. Дальше подхватил попутную машину, грузовик. Никогда раньше не приходилось сидеть в кабине грузовика.

Дальше, вперед. Водитель согласен был довезти до самого места, для этого надо свернуть с основной трассы в сторону на пять километров. Но, приближаясь к своим местам, увидев веселую, петляющую речушку, решил выйти тут и, срезав угол, пройти пешком – километров восемь получается. Напрямую: через овраги, заросли ивняка по ручью, молодым лугом, потом

– лесок, только-только подернутый зеленью. И опять полем. По взгоркам на припеке закурчавились желтые головки – мать-и-мачеха.

Хорош бы он был, если б сидел сейчас в прокуренной тесной квартирке, набившейся толпой, как предполагалось после выставки. С радостью отмахал бы и еще восемь километров.

Неужели и этого никогда не будет?!

Ну, положим, расстаться навсегда – это уж извините. Но поработать?.. Послать к чертям всех этих индюками надутых, распираемых своей начальствующей значимостью, взявших на себя право определять, кому как жить, чем заниматься. И не только кукольные эти командиры, но и сами художники сбиваются в стаи, какие-то дворовые команды и также определяют, кому и где можно показывать себя. С ними надо дружить, пить водку, романы заводить в том же кругу, – табуниться в общем.

Недавно на чердак к Тимофею завалилась странная компания. Цель прихода была затаять Тимофея в свои ряды. Они сколачивали группу, вывалили на Тимофея витиеватые теории, планы, творческие задачи: конкретные и туманные – на потом. И даже идеологию особую. Обозначены были сразу и враги, с которыми надо было бороться своим творчеством.

– Не, ребята, это вы не по адресу, – отвечал Тимофей. – Моя идеология – искусство без идеологии. Я не хочу принадлежать ни к каким командам.

Художник должен быть одинок и разговор вести с Небесами, только.

Какой вздор лезет в голову. Он знал, что никуда от своего угла никогда не уедет. И каждый год будет радоваться нашей жгучей, а может, и слякотной (тоже неплохо) зиме; и каждую осень будет засыпать золотом Тверской бульвар, и будет он ходить по охристым аллеям, наслаждаться запахом прелой листвы. Толкаться в московском метро, у той же тетки на Преображенском рынке брать квашеную капусту, и собаки у метро будут все те же. А когда, кстати, он первый раз обратил на них внимание? Точно, осенью, как перебрался в этот район. Тетка из большой кастрюли выкладывала на асфальт еду, разговаривая с ними, называла по именам.

– Ваши собаки? – спросил Тимофей.

– Наши, таганские, – с удовольствием ответила тетка.

* * *

Летний день начинается рано. Заорет соседский петух – день начался. Яблоки, упавшие на землю, покрыты тяжелыми каплями росы, капли росы на листьях, упавших до времени. Земля холодит, не отдает ночной прохлады. Пока свежо, много чего успеть надо; радио грозит беспощадной жарой. А там осень: дожди зальют, раскиснет дорога, заржавеют поля, пожухнут над прудом ивы. Земля замрет на миг, торжественно и строго перед стужей. А может, и выдастся, как прошлый год – золотым праздником. До ноября теплынь стояла, солнечно. Глянешь на синее небо сквозь дрожащее на ветру золото – аж глаза рвет.

Андрюшка в школу пошел. Николь по утрам увозит и привозит вечером. Школа за четыре километра. Ванечка на заднем сиденье, в детском кресле, ему третий идет.

В ноябре дороги раскиселились. Разъезжать по таким – требуется особая выучка. Транспорт у нас, конечно, аховый. Механика дубовая. Переключая скорость, Николь с силой дергает ручку, та со скрежетом поддается. Двери закрываются как у самосвала – тоже приложиться надо как следует.

– Ничего, – говорит Николь, – ездить можно.

Но по бездорожью лезет без страха – этакий мини-трактор, российский вездеход «Нива».

Но все это потом, а сейчас лето. О, бригадир топает.

– Чего один-то?

– Что ж я по деревне за ними бегать, собирать буду. Сказано, к девяти быть на месте. Должны быть.

Славка молодой, спортивной внешности, энергичный красавец. Когда от колхоза остался, как памятник эпохи, остов солидного некогда ремонтного цеха, вросший одним боком в землю, без передних колес трактор, разбросанные части комбайнов, грузовиков, неизвестного назначения ржавые трубы, торчащие из бурьяна сеялки, ржавый плуг, – то, что осталось от того самого «Пути к коммунизму», которым и назывался бывший колхоз, Славка взял кусок земли в аренду, решил определиться в фермеры. Прикупил тракторок, машину. Но одного темперамента не хватало для такого дела. Затея рухнула. Теперь сколотил из местных забулдыг бригаду, занялся строительным делом.

Как дом ставили, так хорош казался. Теперь, видно, маловат. Летняя пристройка необходима.

Подтянулась бригада. Трое, мрачные, как тени. Минуту молчат: уставились на бригадира, тот на них. Один в суконной черной шляпе, к которой пришили кусок соломы. Бригадир хотел схватить всех разом в охапку и трахнуть лбами, чтоб в себя пришли.

– Завтра чтоб такими красивыми я вас не видел, работники... Разгоню к чертовой матери.

А вот коз, как мечталось, не завели. Были куры поначалу. Белые и рябые. Целый день ходят, тюкают головой в траву.

Петух был: шоколадно-золотистый, с хвостом черным, переходящим то в синеву, то в изумрудную зелень.

Есть соблазн влезть в деревенскую жизнь по полной. И поросенок чтоб, и бараны, и утки, и гуси чтоб, и индюки тоже. Ну и корова, а то и лошадь. Лошадь это уж барство, ну а почему бы нет, в деревне ведь живем. Но остаться при своем деле тут уж трудно. Хотя не оставляет понимание: труд на земле – дело самое правильное, чистое и, если хотите, самое благородное, святое. Искусство же – вещь от лукавого. Но раз уж подвержен порчи – терпи, казак.

От живности, короче, отказались. Всего этого хватает у соседей. Но огород завели по-серьезному. И зелени всякой, и овощей, на всю зиму. Он же и украшение. Морковь вылезет, закудрявится папоротником. Стрелками игольчатыми лук, чеснок. Зелеными лопухами с красными, фиолетовыми жилами свекла. Картошка, та и городские клумбы украсить может, в качестве чего и была когда-то доставлена в Россию. А по осени, как копаешь, она вся светится на черной земле. Лук, тот уж золотыми куполами на солнце. Представляете, ворох золотых куполов! Крутиться вокруг красоты этой приходится по-хорошему. Можно, конечно, бросить все на божью милость, а по осени – бери что дают.

Наблюдал раз такого чудо-хозяина. В соседней деревне, куда ходили в магазин, крайний дом огородам выходил к дороге. Никогда не подозревал даже, что это есть огород. Веселый, видимо, человек хозяйствовал на этой земле. И вот под осень, проходя мимо; розовой лысиной по бурьяну, в человеческий почти рост, мечется человек, в голос понося и небеса, и себя самого, разыскивая, что дал Бог за труды, а вернее, за отсутствие их. Впрочем, делал он это, сыпя налево, направо матюками с веселым азартом. «Помню, едрен-матрен, – кабачки были. Куда ж девались, собачьи души?... А картошку разыскать и думать нечего». Заросли пижмы, лебеды и прочих великаньих трав сожрали, задавили картофельную ботву в зачатке. Оставался один выход – перекопать подряд все под корень, а уж там что попадет.

Коз в деревне хватает, а вот корова на всю деревню одна. Хозяйка, горластая баба, смотрит на всех свысока, понимая свою важность. А может, в силу своего характера иначе не может. Гоняет своего супруга, тихого молчаливого мужика, крупного, неповоротливого увальня. Непонятно, за что ведет постоянную конфронтацию с соседом – пчеловодом.

Как встанет не с той ноги, так начинает причитать, не обращая ни к кому конкретно, но так, чтоб слышно было на соседнем участке: «Мед он делает... сахар перегоняет!» Пчелы, видать, чувствуют это, и соседка периодически ходит покусанная.

Мужики же меж собой ведут дружбу. В основном на автомобильной почве. За огородом того, у которого сварливая хозяйка, давно уж не на ходу, ржавчиной уж пошла – старая «Нива». У пчеловода новенький «Вольксваген». Сойдутся и топчутся вокруг ржавой телеги.

Пришел я раз к нему за пустяковым советом. Он сразу потащил меня к своей железке. Чего, думаю, он тащит туда, мне что, интересно смотреть на этот металлолом? Подошли, хозяин открыл капот. Внутри аккуратно, как в домашнем баре располагались напитки, порционные стопки, пара больших фужеров.

На днях на почту шел, навстречу Витек, из магазина.

– Куда это так несешься? – он мне. – Магазин еще не закрывают.

– На почту я.

– На почту не опоздаешь. Давай-ка вот, за встречу, – и полез в боковой карман.

Расположились тут же, у тропинки, на траве. Ни сумки, ни пакета у Витька нет – все по карманам. Даже в жару на нем просторный не по размеру пиджак, весь в карманах. На закуску оказалось: резаный помидор (у него и нож оказался, экипирован капитально), толстый пожелтевший с одного боку огурец и клеверный дух. Из самого маленького кармана он достал маленький граненый лафитник.

– А здорово мы тут живем в деревне, – радуется Витек. – Вот тебе и бар-ресторан. Во все стороны иди, везде простор вольный. В городе когда жил, там ходи по линейке. На завод приходишь.

– Ах ты тут, – из-за бугра вырастает Юрка, как за спиной появляется грозовая туча. Жестко-бескомпромиссный, как гвоздь в ботинке, и сам весь как скрученный канат, и говорит, как гвозди в дуб загоняет. – Чего на мою Валентину тянешь, я ж тебе.

– Ты, мил человек, – это я ему, – не шуми; коршуном прям налетел. Ты присядь, рюмочку вот возьми, нашуметься успеешь.

Через пять минут, глянул бы кто с высоты птичьего полета, увидел бы трех лучших друзей, расположившихся на траве у петлявшей тропинки. Среди полей, заросших оврагов, береговых перелесков, заваливающихся за синий горизонт, беззаботно-счастливые три маленькие точки, такие же, как и прочая копошащаяся в траве живность.

– Видал? Суки эти у дороги рекламный щит поставили. Предлагают участки по берегу нашего озера.

(Когда главный пахан с президентского кресла гаркнул своей братве, провозгласил: «Обогащайтесь КТО КАК МОЖЕТ», – тем самым определил вектор «развития» нового общества, занятие бизнесом было понято (как и предполагалось) как разрешение к тотальному воровству. И покатила по стране вольница. Для облегчения процесса написаны были соответствующие законы и даже местами конституция. У нашей деревни бандюкам отошло колхозное поле, и теперь глаз запустили на берег озера – сладкий кусок.)

– Пусть только сунутся, стрелять буду.

У Юрки действительно пистолет и конечно же безо всякого разрешения. Откуда он у него, зачем?.. Скорее, такие, как Юрка, приобретают подобные штуки просто из принципа. Раз существует, значит должно быть и у него.

С чертями воевать, на них никаких сил не хватит. А силы и на счастье оставить нужно.

Скоро мои поднимутся, за ягодами пойдём.

По теплой распаренной земле, подпрыгивая, бежит впереди всех Андрюшка, Ванечка не успевает за ним, но изо всех сил старается не отставать. Сандалики держат в руках, в лесу наденут, там колко, кусается все в лесу.

До глубокого оврага тропинкой идем по гречишному полю. Гречишное, оно особенное. Волнами, из розовых стеблей пенится крошечными белыми цветами. И такой дух густой, медовый – хоть ложкой ешь. И гул пчелиный стоит.

– Каша растет, – говорит Николь детям.

Дети нагибаются, разглядывают в упор мелкие цветочки и не видят каши.

Овраг. Спускаемся. Там еще держится роса. Солнце едва цепляет ольховые макушки, прохладно. Выбираемся наверх, и пригорок обдает жаром луговых трав. Вот тут она и ягода. Весь пригорок в рубиновых каплях. А повыше, где трава, – там самая крупная, красивая самая. И рвать-то ее такую жаль. Так и любовался б, и только.

– И-и-и! – Ванечка не может безмолвно, как мы, на чудеса смотреть. Срывает ее, крупную, тянет двумя пальцами в рот и не успевает донести, она давится еще в руках, половина растекается по губам, половина по пальцам. Он удивленно разглядывает окрашенный палец, и осы, две, кружат рядом – глядят тоже. Но они не тронут, для них тут всего хватает.

Петляют бабочки, божья коровка садится на руку, мирно ползет, в момент расправляет оранжевые в пятнах крылья – и нет ее. Отовсюду кузнечиков скрип, и оводы страшные проносятся бывает, и пчелки мирные, своим заняты делом, жуки, всякие мушки крохотные: и все вместе как единый вздох. И я уж не пойму, чье это тут детство...

* * *

Они появились еще в те времена, когда Зур, легендарная в деревне личность, построил под горой дом и, не имея привычки жить в одиночестве (периодически проявлялись какие-либо сожители, дамского обычно рода), из очередной поездки в Москву вернулся с новыми друзьями.

Намереваясь пожить в деревне недолго: подработать по строительству, – остались тут до конца своих дней, более двадцати лет. Оба шустряки, спортивные такие, носились по деревне, починяя крыши, печи, окна, электропроводку, кое-что из автомобильной техники, выкашивали криворуким или ленивым сады, и все за плату скромную, а порой и символическую. Рукастые и быстрые на любую работу, если не случалась некая запятая. Работа в таком случае тормозилась надолго, а то и забывалась вовсе.

Андрюха с годами, особенно после травмы ноги (сверзся с лестницы и наотрез отказался от медицинской помощи), заметно располнел, поубавил обороты. Лизавета, та, как и прежде, хоть округлилась местами, носилась пулей, особенно в магазин. И когда нападала на них лирическая нотка, на несколько дней исчезали, казалось, бесследно, и безуспешно тогда пытались отловить их заказчики. Переживали, бывало, и за само их существование... Выходило странно; на двери, снаружи, висел замок, собаки так же безразлично валялись возле двери, а хозяева не подавали никаких признаков жизни.

Секрет оказывался одновременно и прост и дерзок. Из коридора, дверь которого никогда не закрывалась и где на пороге всегда в свободное время сидел хозяин, курил, разглядывал облака, сделан был лаз – подкоп, выходивший в заросли бузины да крапивы, облепившие заднюю стену дома.

На дверь с улицы вешался замок, через лаз забирались они обратно в свое логово, и общение с миром прекращалось до конца веселых дней.

И когда, точно по поговорке – «И жили они долго и счастливо и умерли в один день», когда так это и случилось, деревня осиротела; исчезло что-то необъяснимо ценное и черт знает чем привлекательное – вроде диковинного украшения. Иной раз Лизавета ловила и сливу под глаз, но все ж видно было, что дороги они друг другу до жути. Однажды Андрюха отколотил здоровяка из строителей, который, как показалось ему, не совсем как-то правильно заглядывался на Лизку.

* * *

Андрюха подвернулся случайно, но как раз в тот момент, когда я решал вопрос, где взять хорошего печника. Еще весной Юрке ставили новую печь, и я ходил смотреть на исполненную работу. Печь получилась выше всяких похвал. Сработана была из специального полированного, темно-красного кирпича. А над печным зевом кирпичи пошли затейливым орнаментом. И главное: в инженерном отношении – безупречна. Кособокая избенка, что приняла такую красоту, не знала теперь, куда себя деть, сгорбилась еще больше и потускнела.

А когда Юрка сказал, что это стоит, я подавился яблоком, которое грыз.

«Кирпич, – размышлял я, – может быть обыкновенный, и без орнамента тоже переживем, но будут ли они делать по моей указке, там, поди, свой стиль, марку держать надо. Андрюха предлагал сработать печку на любой каприз».

– А ты делал печки-то?

– Да я их знаешь сколько сложил, и не упомнишь. Говори масштаб действия, за остальное не беспокойся. Я тебе, знаешь, четырехходовую сооружу.

– Думаю, и трех достаточно будет.

– Нет, нет, я уж из четырех ходов выведу, чтоб уж жарила во всю страсть.

Договорились, что через неделю, как вернусь из Москвы, печь стоять будет.

Вернувшись из Москвы, я застал настежь распахнутую дверь, разбросанные инструменты, корыто с засохшей потрескавшейся глиной с вросшим в ней мастерком. Часть кирпичной кладки осталась голой (в данной технологии кирпич затирается глиной, далее красится в белый цвет). Исполнителей работ не было. Печь, правда, стояла. Но вместо четырехходового нутра – печь была прямая, как палка. Такой удобно улицу топить.

Что ж тут сделаешь, не хватило духу мастерам, та сама запятая... Это уж я потом взглянул под таким углом, а тогда, придя в ярость, чуть не задохнулся от гнева и при встрече выпалил на них полную обойму.

До сих пор помню: он сжался весь, собачьи глаза просили: «Не бейте только». Как же я был себе противен. Господин заплатил три копейки и требует безукоризненного исполнения, распекает никчемного работника. А надо-то было нанимать профессиональных рабочих и соответственно платить. Какие претензии мог я предъявлять такому человеку? Мы жили в неравных условиях. Не от хорошей жизни оказался он в чужих краях. Живет в кривобокой развалюхе (Бога благодарит, что какая-никакая крыша над головой). Не имеет никаких социальных ни прав, ни гарантий. А в не очень далеком прошлом война, Афганистан. Когда я, хоть и на чердаке, пил привезенное из Парижа *Bordeaux Supérieur*, он носом в землю, ползал по афганским горам (под пулями). И как бы пафосно это ни звучало, но черт возьми – это так. Тяжелая контузия, последствия которой не изгладились до сих пор.

Однажды к его «курятнику» подкатил черный джип. Зеваки повыскакивали... Из джипа вылез здоровяк в генеральской форме. Неизвестно, как бывший командир разыскал своего однополчанина (рядового подчиненного, стало быть, было за что), только они закрылись в его каморке и гудели до следующего вечера.

А с другой стороны, положение сытого праздного мечтателя, у которого ну разве только черта нет.

Бывает, что и так начинается дружба.

* * *

По левую руку громоздился самый большой, самый роскошный в деревне дом. На просторе, несколько в отдалении, т. к. был разделен от общего ряда деревенской улицы неболь-

шим оврагом. Хозяева дома, люди были малообщительны, известно лишь, что из начальственного сословия. А на другой конец деревни, к человеку как раз очень общительному наезжала в гости молодая эффектная дама, московская художница. И можно было часто видеть ее сидящей у плотины, рисующей заросший пруд, то на маленьком холсте кудрявились березки, то куст какой-нибудь рябиновый, полыхающий закат и ромашковое поле. Всегда рядом черная сумка, видимо, со всякими профессиональными премудростями.

Жору, друга, к которому она приезжала, удивляла она постоянно, а была она для него безусловно загадкой: и величавым спокойствием, взглядами, намекавшими на некую тайну, резкими движениями; сорваться, бросив все, в Москву и так же неожиданно, как снег на голову, явиться, когда казалось бы, и добраться не на чем. Скромность тоже удивляла: «Ну до того скромна, стеснительна. Я ей рюмочку за обедом наполню (Жора этим не увлекался, но за обедом-ужином уважал) – а она глаза потупит и ручкой так, отведет, – не надо, мол, это не для меня».

– Пошел я раз в магазин, – рассказывает Жора, – в соседнюю деревню, пошел и опоздал, закрыли. Где взять теперь?..

Бутылки, что собирался он приобрести, хватало ему на неделю, да и не так чтоб нужна позарез, но раз уж пришел... У магазина местный мужичок подсказал, направил по нужному адресу, где недорого всегда можно было разжиться.

– Сколь возьмешь-то? – спросила вышедшая к нему бабка.

– Да одну, хватит.

– Это ж откуда такие будете?

– Из Матюшино.

– Эко, за одной-то в такую даль идти. Из Матюшино барышня одна обычно ходит, так меньше трех никогда не берет.

– Барышня... – Жора напрягся. – Это кто ж такая?

Бабка выдала точный портрет его подруги.

Любаша его – так ее звали – в силу своей загадочной природы пристрастия свои демонстрировать не любила. Действовала так.

Брала у бабки три-четыре бутылки, отливала в четвертинную бутылочку «рабочую» дозу, таким образом всегда находящуюся при себе в черной ее сумочке, и отправлялась беседовать с природой: с кудрявыми березками, с лягушками у пруда, с пахучими травами.

Пришел как-то Жора, и вид имел озабоченный.

– Тим, Любаша моя загорелась тут идеей продать свои картинки. Соседям твоим. Я говорю ей: «Что ж я, так вот вломлюсь к ним, скажу: доставайте кошельки – товар принес. Я ведь вообще их не знаю». Так вот, может, ты, по-соседски, так сказать.

– Да я тоже вроде особой дружбы с ними не вожу; так, здрасьте – до свидания.

– Ну, ты как художник можешь посоветовать им.

– А с чего ты взял, что картинки их интересуют?

– Под такой-то крышей, поди, и стены должны быть украшены. В общем, она меня к тебе послала.

Делегацией отправились на барский двор. Люба впереди – взгляд решительный, я за ней, сзади Жора тащил тюк с картонами и холстами. Хотя я и растолковал цель визита, хозяева, казалось, не совсем понимали, что от них хотят. Были они из тех, для которых – картинка, она картинка и есть: фото, вырезанное из журнала, что-то такое нарисованное на холсте, на картонке, репродукция в раме, ну, если рамка хорошая, то... впрочем, все – одного порядка вещь. Куда больше любят они свои красивые стены с красивым покрытием и с сомнением смотрят на возможность вбить в эту красоту гвоздь.

Жора распаковал товар, расставил по стенке. Хозяева долго всматривались, пытались найти узнаваемый уголок деревни, опасливо переглядывались, наконец выбрали все же картонку.

– Эту берем, – сказала хозяйка и торопливо добавила: – Двадцать рублей.

Пиво стоило тогда десятку.

Все посмотрели на автора. Вид Любы, дерзко-решительный, говорил – сейчас вот решается дело ее жизни и в руке ее был меч, с которым готова была броситься в любую схватку.

– Я должна подумать, – рубанула Люба мечом. – В сад выйду. (Метнулась за дверь, сумочка черная на плече.)

Пересекла голый газон, дальше египетскими колоннами стояли стриженные туи. Обойдя сбоку, достала мерный сосуд свой, хорошо приложились и так же решительно направилась к дому.

Войдя, меч полоснул воздух: «Двадцать пять!»

Люди, конечно, живые вокруг, выразительные, каждый на свой манер. В городе живешь двадцать лет, ничего не знаешь о своих соседях. Тут все наизнанку вывернуты.

* * *

По ночам садился иней. Уставший сад дышал ленью. Деревня наполовину обезлюдела. Некошенная за огородом трава почернела и смотрелась скрученными мотками ржавой проволоки. Клены торчали пустыми черными ветками, насыпав вокруг себя желтого.

Вот и еще одна осень.

* * *

Платаны не желтели. Покрывшись как бы серой патиной, чуть съеживались, зелеными валились на землю. Многовековые гиганты, стриженные яйцевидной формой, шевелили кое-где оставшимися, редкими листьями, особенно на макушках, смотрелись прозрачными шарами.

Нет, каждый год он опять шел по Тверскому, спускался по Петровскому бульвару на Трубную, потом по Рождественскому, по Сретенке шел... И все вокруг: здания сотнями своих глаз, прохожие, несущиеся мимо, и даже деревья (он чувствовал) – смотрели на него как на пришельца, заблудившегося чужака. Этот мир не принадлежал ему больше.

В магазине разбитная продавщица без всякого повода, по привычке просто, нахамила ему. Он даже не обиделся, посчитал, что не имеет права обижаться. Он даже позавидовал ей – она ведет себя так, как хочет, он же не может даже обидеться.

* * *

В аэропорту вспомнил вдруг, что сутки ничего не ел. Рядом за стойкой двое лениво тянули кофе. Он хотел было тоже пойти взять что-нибудь. Но в голове все что-то гудело, прыгало, и он остался на месте.

Даже когда самолет рванул вверх и земля опрокинулась боком, и тогда еще не верил, что куда-то он уезжает. С козой решено было подождать, Париж на тот момент оказался нужнее. Поднадоели московские ветряные мельницы, захотелось оказаться, самому стать частью того большого мира, мира искусства, что был где-то за морями, за горами. Необходим был, он чувствовал, не просто рост, тут – взрыв был нужен. Не имеет права он киснуть в выверенно-вялой повседневности.

Одна неувязочка, тот же все проклятый вопросик: «Куда ж девать теперь этот вот окружающий его мир, без которого, казалось, и быть невозможно»?

Что ж, подвиги требуют жертв. Небесами поставлен он на этот путь и пройти его должен, выложившись до конца. И никаким соплям тут нет места.

* * *

Париж выглядел фантастическим. Накануне прошел ледяной дождь. (Тимофей никогда явления такого не видел.) Деревья были покрыты льдом. Стволы, каждая веточка казались хрустальными, светились в свете вечерних огней и походили на новогодние украшения. Серые парижские стены блестели, как натертые жиром. И в ледяном скафандре вышагивала золотая на золотом коне Жанна д'Арк.

И еще помнил, как жутко мерз весь тот первый в Париже день, хотя в той же самой одежде нормально чувствовал себя в Москве в двадцатиградусный мороз.

Приятно порадовало появившееся ощущение пустоты вокруг. Замечательное, комфортное состояние – ты никто, ты никому (наконец-то) не нужен, никому нет до тебя дела. В то же время жизнь взяла такие обороты – только успевай поворачиваться.

Сторона материальная беспокоила мало. С голоду не умирали, но доходы, как принято говорить, оставляли желать лучшего. Это уж когда высунулся, приглашения повалили со всех сторон, а поначалу Тимофей готов был взяться за любую работу. Кстати, оказались и картины, привезенные из Москвы. Правда, не так там все было гладко.

В Москве, по правилам, для вывоза за границу предметов искусства (в том числе и своих собственных произведений) надо было пройти некую оценочную комиссию Министерства культуры. Члены этой комиссии для проведения рутинной процедуры явились к Тимофею на дом. «Ну, что тут у вас, показывайте», – говорил вид их, скучающий, надменный и кислый. Они намеревались управиться в несколько минут. Но вышло по-другому.

Вперились в работы, смотрели долго, молча переглядывались. Наконец главный из них сказал:

– Разрешения на вывоз таких работ мы не дадим.

И другим уже тоном, растерянным несколько, добавил:

– Мы думали, тут обычная какая-нибудь серая скука. А это – ВЕЩЬ! Нет, вывозить это мы не разрешаем.

Тимофей взвился:

– Тогда покупайте, раз находите это ценным.

Главный сменил тон, заговорил совершенно по-дружески, перейдя даже на «ты».

– Тимофей, я бы купил, но я тут ничего не решаю, я искусствовед, эксперт, определяю...

– Карать или миловать?

– Можно сказать и так. Но я, лично, заинтересован, чтоб все настоящее оставалось в нашей стране, и своего согласия на вывоз я тебе не дам.

– Но почему? Разве плохо, если действительно стоящие вещи будут представлять за рубежом нашу культуру.

Тимофей горячился, но чувствовал некую неуверенность своей позиции. С одной стороны, Рубенс принадлежит всему миру. А лучшие работы Матисса висят в российских музеях. С другой стороны, было бы жаль, если бы часть русского иконописного искусства гуляла бы по чужеземным музеям, его так немного осталось. И опять, сколько всякого барахла налепили так называемые современные классики, и велика ли будет потеря, если часть вывезут из страны. А я так вообще еще не встал на ноги, и нужны мне мои вещи, ну, чтоб совсем уж голым не являться в новый мир. Чем тут, собственно, дорожить-то?

Отказ был получен – железный.

Немного, но какое-то количество Тимофей все же решил взять на свой страх и риск без разрешения, и как ни странно, проехал. Работы эти предполагаемой роли не сыграли. Тимофей выскочил совершенно на другой уровень с другими формальными задачами. Картины те были просто проданы, что несколько поддержало материальное положение на тот момент.

Братся приходилось за самые чудные вещи.

Знакомый актер притащил раз на съемочную площадку, подработать в массовке. Работа оказалась не такой уж простой. Вставать пришлось чуть свет (и это целую неделю) и к восьми быть в загородном дворце и без опозданий. Кроме того, оказалось, что нужно уметь танцевать вальс. Тимофей хотел уж было отказаться, но Николь сказала, что берет это на себя и за пару дней сделает из него танцора. Намучилась достаточно. «Ну ты и медведь, хоть и ростом не вышел. Ноги крюченные. Плавно надо, плавно... Что ты как сундук неповоротливый». Танцевать на съемках не пришлось.

– Шампанского сходите купите, семь бутылок, – распорядился режиссер, он же был и в главной роли.

Снимался динамичный эпизод. Главный герой носился по залу среди толпы, вдруг (без всякого предварительного уговора) с выпадом резко крутанул на сто восемьдесят градусов и приставил к горлу Тимофея шпагу, настоящую, острую, и даже через пару секунд слегка надавил, заставив задрать подбородок до предела; застыл на мгновение и – согрег (снято) – объявил на выдохе.

– Вы как, не испугались? – спросил, подойдя к Тимофею.

– Нет, нет. – Тимофей напрягся, чтобы голос звучал ровно, тайно радуясь, больше режиссера, что эпизод был снят с первого раза.

На трюк с шампанским ушло два дубля, на том съемочный день и кончился.

– Кто желает, – распорядился режиссер, указывая на столик с бутылками. – Можно все это выпить.

Взял открытую бутылку, внимательно рассмотрел этикетку, налил в бокал, выпил, сказал:

– Ну и гадость.

«Ну и работенка», – подумал Тимофей.

* * *

Когда Тимофею предложили сделать несколько копий Моне, он согласился почти с радостью. «Да это ж наслаждение покидаться красками великого живописца». Оказалось, это, мягко говоря, не совсем так.

Копии заказывал Голливуд, где по сюжету фильма на картину что-то льют, и она фантастическим образом исчезает. Морока заключалась в том, что копии сделать (пять штук) нужно одной и той же картины. Это уже само по себе жутко противно, пять раз повторять одно и то же. Кроме того, сделать их нужно не маслом, как в оригинале, а гуашью, да еще и на стекле. Трюк в том, чтоб она смывалась водой. Другой материал, да на стекле – б-р-р-р, и главное: «Главное! – говорил заказчик. – Чтоб не столько похожи на Моне, сколько друг на друга. Не отличить чтоб».

Тимофей никогда не делал никаких копий и не представлял, какая это бестолковщина. Да и можно ли вообще, не для данной задачи, а по-настоящему хорошую копию сделать. Делают ведь для музеев даже. Как можно повторить живые мазки, пятна, которые Моне делал спонтанно, левой, можно сказать, ногой, повторить так же. Невозможно!

И вот Тимофей пыжился, копируя случайные кляксы, не у Моне даже, а у себя; с первого номера на второй, со второго на... и т. д., проклиная эту затею.

Нет уж, лучше ямы копать.

И когда позвонил друг Славка, предложил перевезти тетушку из парижской квартиры в загородный дом, Тимофей с удовольствием отметил:

– О, то что надо. Правильная работенка.

Тройка грузчиков – классика.

Выехали рано утром, и к вечеру весь груз был на месте. Наломались, конечно, прилично, но это здоровая усталость, усталость ленивого тела, не знавшего физического труда.

Хозяйка, русская пятидесятилетняя дама второй эмиграции, называла их ласково – мальчишки. Раздав гонорар, усадила за стол – порядок знает. Запотевшая бутылочка, острая, вкусная закуска.

* * *

Пришло письмо из тихого курортного городка на *Bodensee*, Австрия. Пишет московский знакомый.

– Приезжай, вся местная знать с ума сходит; все хотят иметь портрет твоей работы, глядя на Катины портреты.

Был такой короткий период, когда Тимофея заинтересовал жанр портрета. Посадил он тогдашнюю милашку свою и написал удивительный портрет. Видимо, тут Господь водил его рукой. Другого такого не получилось никогда. Портрет был повешен на стену, чего раньше никогда не делалось. Приходящие все разевали рот и непременно хотели иметь такой же.

(Чудаки... – то ж с Божьей помощью сделано было.) Ладно, они-то этого не знали.

И поехало.

Тимофей с удовольствием взялся за дело, не денег ради, ему хотелось освоить этот жанр.

Заказчики повалили со всех сторон. Платили хорошо, портреты выходили один другого хуже.

Одна дама (сама художница), заламывая руки, восторгалась: «Удивительно, как удаётся вам взять такой зелёный цвет. Вас ждёт, уверена, большое будущее».

Тимофею слова ее ржавым скребком по сердцу. Цвет может и хорош, но портрет – это образ, который был ни к черту. И по глазам ее видно было, что и она это видит, но ей очень хотелось иметь портрет. Когда портрет был готов, она явилась с мужем. Выразительная вышла сцена. Муж напряженно разглядывает портрет – возможно он плохо знает искусство, но он хорошо знает свою жену, – и жены он там не видит. На лице жены – страх, мольба, зыбкая надежда. Тимофей во всей полноте тут увидел несостоятельность своего дела, ему хотелось взбрыкнуть, взять холст, трахнуть об угол и насадить на какой-нибудь острый предмет. Но ему жаль было даму: не очень уже молодую, не очень красивую, но трогательно милую, и он видел, как хотелось ей иметь портрет.

Муж не сказал ничего. Сдержанно, как положено, поблагодарил, вручил Тимофею соответственно договору сумму. Немалую... У дамы отлегло от сердца. Плюс в подарок она притащила батарею отличного аргентинского вина.

Тимофею противно было брать в руки эти деньги. Он с удовольствием отказался бы от них, но это было бы такое же коленце, от которого он отказался. Он вышел, бесцельно прошатался полдня, наконец, напился и зарекся братья когда-либо за портрет. Ведь тот первый, единственный настоящий писал он с близкого ему человека, которого хорошо знал и, возможно, любил даже. А точно ли любил? Впрочем, это не важно. Знал-то точно хорошо. Нет, он не портретист. Настоящему портретисту объект не важен, он картину делает.

Тема была закрыта.

Но вот знакомые, отъезжающие в дальние края, опять обратились с той же просьбой – написать Катин портрет. Тут был особый случай, Катя была необычна. Тимофей видел инте-

ресный образ. И. согласился. С оговоркой. Не показывать портрет до конца работы, но и тогда, по окончании, если ему портрет не понравится, она его не увидит.

«Идет», – согласились Миша с Катей. Миша был скульптор, возможно, понимал Тимофея.

На одном дыхании, как радостный выплеск, сделан был портрет.

Миша разглядывал портрет долго, затем сказал многозначительно, так, видимо, эффекта ради: «Боюсь, что мне нравится». Катя же в себя такую просто влюбилась. И тут же заказали еще один. С такой же легкостью Тимофей сделал и второй. Тоже удачно.

Поселившись на австрийском озере, Миша неожиданно стал важным, востребованным человеком. Коллекционирование деревянной скульптуры было там модным и даже престижным. Не хватало только такого умельца-реставратора, каким оказался Миша. Таким образом, вся тамошняя знать, не только ихнего городка, но и всего большого района, земли т. е., а там, кто знает, может и до самой Вены, оказалась его клиентами. И все обмирали, заглядываясь на Катини портреты.

«Приезжай, – писал Миша, – работы тебе тут на год хватит».

– Действительно, поезжай... – говорила Николь. – Попробуй, отдохнешь заодно.

– Я не люблю курортов, – пытался капризничать Тимофей.

– Тогда делом там займись, может, заработаешь.

Тимофей рискнул. Кто знает, интерес вдруг вылезет откуда не ждешь.

К приезду Миша оповестил, договорился о встрече с рядом заинтересованных. Неделя, на которую Тимофей приехал, была расписана по часам. По несколько визитов в день. Обычно это обед и ужин.

Все эти официальные приемы для Тимофея – тяжелый труд, мука. Это и губернатор земли, и местные воротилы крупного бизнеса, и кто-то еще из важных, звания которых Тимофеем были непонятны. Каждый думал, что Тимофей прибыл специально, чтобы написать их портрет. Тимофей чувствовал себя в роли Чичикова, объезжающего важных персон.

Больше всех озадачил бургомистр. В солидном доме с флигелями, башенками жила большая семья. Бургомистр пожелал, чтоб Тимофей сделал портреты всех без исключения членов семьи в отдельности и затем всех скопом – семейный большой портрет. А это: сам бургомистр, жена его, сын (тоже важная личность), жена сына – японка (!) и четверо их деток. Да, еще отдельно групповой детский портрет.

Тимофей смотрел на эти скучные лица и чувствовал себя аферистом почище Чичикова. Ну, что хорошего он тут мог сделать?

Не портретист он, нет. Да еще японцы... Все японцы для него на одно лицо.

Заключительный визит оказался романтической поездкой. Дама, желавшая иметь портрет, потащила их за город в свой фамильный замок. Глыбой нависал он над отвесной скалой. Дальше провалом зеленая долина. Деревушка игрушечными кубиками сползала по склону, стадо коров замерли, как на картинке.

– Нравится? – спрашивала дама, кивком указывая на пропасть.

– Красиво, – говорил Тимофей.

– Если хотите, можете приехать, работать тут. Замок в вашем распоряжении. Можете жить сколько захотите.

Большая часть замка пустовала, но и обжитая была немаленькой. Средневековые интерьеры были и грандиозны, и неуклюжи. Старой мебели не осталось. Попадались разрозненные: стол, несколько ампирных стульев, барочный диванчик – забавная штучка и совершенно бесполезная в практическом смысле. В основном мебель была нашей эпохи, но старая. Кое-где были картины, все темные, в чудовищно мощных рамах. На комод в рамочке фотография. С легкой улыбкой с фотографии смотрел молодой офицер. Безупречно подогнанный мундир, крест под шеей, на воротничке молниями знаки СС.

– Это папа мой, – сказала хозяйка.

Великодушной даме, как и всем остальным, Тимофей сказал, что в этот приезд цель была познакомиться, а вот в сентябре он приедет для самой работы.

Это было позорное бегство. Хоть никто и не гнался за ним, казалось, что едва ноги унес.

* * *

Тимофей не мог точно определить, зачем ему это нужно, но чувствовал – нужно. Купил самую толстую тетрадь, стал записывать не связанные даже меж собой воспоминания из прошлого. Скорее, ему хотелось в чем-то разобраться, понять что-то важное, и на бумаге, казалось ему, сделать это проще и убедительней.

Записки Тимофея

...Тогда я учился в пятом классе, а он заканчивал десятый и осенью был уже студентом художественного училища. В конце того учебного года в школе устроили выставку рисунка. Рисовал я много, но участвовать в выставке считал себя недостойным.

Она выделялась из всех сразу – это была настоящая картина – в рамке, сделанная настоящими масляными красками. На синей скатерти стояли белые фарфоровые чашки и красное с зеленым боком яблоко. Особенно хороши были чашки – как настоящие. Это была его картина.

А как же сошлись с ним? Не помню. В том возрасте разница в четыре года это серьезно. Впрочем, не имеет значения. Он не гонял с пацанами мяч, не играл в карты. В одиночестве он расхаживал по улицам вокруг дома, сосредоточенный и рассеянным одновременно. Иногда я присоединялся к нему; он сразу загорался – слушатель появился – и часами рассуждал об искусстве.

Рассуждения выходили мрачными, но слушал я с интересом, понять хотел.

– Вот в Манеже сейчас выставил этот... – И он начинал хихвости́ть художника, выставившего самую большую картину. На картине кто-то из революционных главарей в окружении кучки солдат на Красной площади. – Что там особенного? Скороспелка. Ну, сколько он писал ее, года полтора, два от силы. Ну, год еще материал собирал.

Я слушал и не мог понять – какой материал, для чего и что можно собирать год?

– Материал это что?

– Ну, как по библиотекам сидел, изучал документы.

Жаль, что не мог я тогда спросить: как бы это было, если б, скажем, Коровину понадобился год собирать, изучать документы, чтоб написать цветущие настурции, или Ван Гогу свой стул.

– Три года... разве это работа? – продолжал он. – Иванов свое «Явление» двадцать лет писал. Вот это работа! Я вообще считаю, что художник не должен скакать от картины к картине. Смолоду должен выбрать себе тему, поставить большой холст и писать всю жизнь одну эту картину. Вот это будет настоящее.

Подобное угнетенное состояние испытывал я в Третьяковке. Нет, в целом поход в Третьяковку был для меня праздником. Но вот, проходя по залам, рассматривая корифеев XIX в., становилось муторно. С картин смотрели застывшие мертвецы. Охватывала жуткая скука, но я терпеливо всматривался, опять хотелось понять, что это и для чего? Неужели это то самое, чему я собрался посвятить жизнь? Так же и про них говорили, как годами писали они эти картины.

Главное, непонятен был смысл такого искусства. Потратить годы (!), чтобы изобразить (протухшими красками) грустную тетку у гроба или других двойку-тройку скучных

фигур, когда все это можно выразить несколькими словами. В театре любая из этих сцен в тысячу раз выразительней и занимает несколько минут.

Нет, что-то тут не так. Не хочу я заниматься таким вот искусством. И даже пейзажи были такими же мертвыми. И слушая ЕГО, вспоминал тех художников, и становилось ясно – он готовится в их строй.

И помню, как спускался – обессиленный и опустошенный – шедевры те сжигали всю энергию – на первый этаж музея, как снова возвращалась радость. Солнечные поля и цветущая сирень, сирень пахла, глаза слепил снег под мартовским солнцем, а на вываленные на стол яства хотелось накинуться и есть. Коровин, Кустодиев, Левитан, Юон, Кончаловский, Самохвалов, Фальк, Дейнека, Пластов, Стожаров... С такой командой хотелось прожить лет двести.

Такой же восторг и в Пушкинском. Мир тот не похож на наш, но был такой веселый и замечательный.

* * *

Николь как-то заглянула в его записи, спросила:

– Зачем ты все это пишешь? Лузеры были всегда, они, что, стоят внимания?

– Вся эта команда являлась дезориентирующей жизненное мое пространство. Украли немало моего времени. К счастью, ввиду мерзкого моего характера, я не мог следовать в полной мере их направлению, но частично что-то им удалось у меня урвать, – отвечал Тимофей.

* * *

Через год он почувствовал уверенность, рискнул высунуть нос, показать на одной из престижных площадок результат годового труда. В такое место не так просто было пробиться. Однако удалось не только попасть, но и получить там премию. Предложения посыпались как горох.

И понеслось.

Из Парижа летел в Кельн, Берлин, Лондон; потом за океан, опять Париж, и опять все по кругу. Уезжая из Москвы, не предполагал такого оборота.

Но опять грыз, ерзал какой-то червячок, маленький такой, назойливый: «А точно ли ЭТО главное? Всех звезд не сгребешь с неба. Да и в них ли смысл?» Бывало, рассыпалось все вокруг, и, очнувшись минутой, силился понять: почему стоит он на этом мосту – Александра Третьего и куда внизу несется мутная вода, или тупо бессмысленно читал на чугунном столбе, истыканным толстыми клепками *Bowery st.* Что это?

Тимофей чувствовал – истина где-то тут, но ускользает, зараза, не ухватишь. А может, главный смысл так глубоко запрятан? Дано ли человеку вообще его разгадать? Но слышал он и такое: «Где поставлен, там и воюй!» И опять крутился не оглядываясь.

Тимофей никогда не интересовался специально Парижем: его историей, традициями и достопримечательностями даже. То есть не был из тех, что бредили этим городом; наизусть, до прибытия еще туда, знали географию города, значные все места, а иные даже в курсе были цен на жилье в разных районах. И прожив в этом городе достаточное уже время, не знал ничего о знаменитых ресторанах, модных кафе, где протирали штаны его знаменитые предшественники, о которых написаны горы книг. Он приехал в Париж работать и понимал это место как трудовую зону.

* * *

Записки Тимофея

Само устройство мира искусства – изобразительного (не путать с миром музыки, театра, литературы) – соориентировано на сонное существование. Трудно найти пример сгорающей в творчестве личности. Я стремился быть именно таким и на фоне всеобщей расхлябанности считал, что – я-то уж ого-го как активен! Хотя на деле не совсем это было так.

Были, правда, художники необычайно плодовитые, наделали бездну работ. Но это совсем другое. То в силу специфики их творчества и природного темперамента. Но работали во многом также спустя рукава. И по размаху своему все равно оставались художниками камерными. А если бы они напряглись с полной отдачей – результат мог быть иным.

Мир этот был переполнен мечтающими прожектерами.

Стандартная карьера (она же норма) представляла собой следующие па. Институт – диплом. Далее рутинное почесывание по округляющемуся пузику. К тридцати, тридцати пяти (достижение) – участие в молодежной выставке. Поступление в Союз художников. Теперь, раз в два, три, четыре года участие одной картинкой в какой-либо, сотнями представленных авторов, выставке. И в конце пути, для особо заслуженных, выходя на пенсию, скромная персональная выставка, единственная в жизни. Все.

Кстати, тот, что в детстве обратил так на себя мое внимание, бредил глобальными замыслами, в дальнейшем вообще никак не проявил себя как художник, даже на самом скромном уровне. Растворился...

* * *

Однажды их дом посетила важная особа. Несмотря на тесноту, надо было показывать работы. Разгребли разбросанные на полу игрушки, Николь, с младшим на левой руке, правой за руку держит старшего, оперлась о косяк двери. Тимофей к дальней стене напротив окна поставил холст, к противоположной, единственный удобный, со спинкой стул – предложил гостье. Высокая стройная дама, в светлом костюме, в светлой тоже широкополой шляпе, села на стул, сделала легкое движение – поудобней устроиться, – стул издал звук раскалывающегося ореха, и гостья рухнула на пол, качалкой перекатившись на спине, высоко задрав ноги. «Надо же, длинные какие...» – невольно отметил Тимофей.

Через неделю он был приглашен для ответного визита: познакомиться с ее коллекцией и сфотографироваться на фоне своей картины, ею приобретенной, – сертификат.

Анфилада комнат впечатляла. Кроме современного искусства были залы африканской скульптуры, китайского фарфора, шелковой живописи, индийских гобеленов.

– А теперь закусим. – Они оказались в библиотеке.

Просторный зал с шоколадными стенами в полтора раза выше других, торжественно строгий. Хозяйка распорядилась, и принесли кофе и закуски.

– А вы любите фуа-гра?

– А что это?

Хозяйка молча влезла в Тимофея глазами, будто только заметила его присутствие.

– Вы сколько уже в Париже?

– Четвертый год.

– Чем же вы тут занимались?..

* * *

Чем я занимаюсь? С радостью себе ответил бы на этот вопрос. Хотелось бы исключительно работой. Но бесконечные скачки эти по городам... «Чего ты мечешься. Все самое чудесное – дома».

Двери распахиваются, горохом рассыпается по двору малышня: с криками, визгом, вприпрыжку. Робко выходит мальчик, останавливается и как впервые смотрит на мир. У меня сжимается все внутри. «Этот маленький комочек в такой смешной шапочке его, его сын!» Мне хочется не подходить, стоять так, любоваться этой трогательной беззащитностью. Но жалость пересиливает, подхожу, приседаю и хватаю в охапку дорогой кусочек самого себя. А еще раньше.

Ночь: медленно, занудно пищит дверь в спальню. Мы слышим, просыпаемся. У кровати просто стоит, молча, маленький наш котенок.

– Что случилось? – спрашивает мать.

Он не скулит, не плачет, но столько муки в глазах.

– Чесается, – показывает, смешно выворачивая руку.

Мы укладываем его между собой.

Какая на душе сладость: ты защитил свою кроху от злых комаров, но как хотелось бы прыгнуть за тебя в бой с тиграми.

Был действительно такой миг, вспоминать страшно и стыдно.

Как сильнодействующий психотропный элемент, как смерч влетел, отравил сознание. Старшему тогда было тринадцать, младшему девять. По вагону метро с дикими выкриками, дикого тоже вида двигались двое здоровых парней, на ровном месте задираясь к пассажирам: ну просто жадной горели затеять драку. У таких нередко и ножички по карманам. Остановившись перед женщиной, один стал выделывать странные кренделя у нее перед лицом, будто хотел схватить за нос. Та застыла как каменная. Дальше мужику отвесили по затылку такую затрепину – тот согнулся до колен. Шляпа его покатила по полу, между рядов, и т. д. в том же духе.

Мы сидели вместе, в ряд. У старшего на коленках плеер. И тут, как вспышка во мне – дикое это желание, чтоб кто-то из этих выхватил у сына плеер. Желание броситься, грызть этого урода зубами (другим способом с таким мне не справиться). Глаза у меня, видимо, горели в момент их приближения не меньше, чем у них.

Они прошли мимо.

Когда выскочила ядовитая игла, стало жутко стыдно; страшно подумать, что могло из этого выйти, страшно стало за детей.

* * *

Дом – это много, много счастья. Первый по-настоящему теплый майский день. Николь в замечательном воздушном летнем платье: широкое, длинное, на ходу играет волной. Рядом я с коляской. Старший – ему уже пять, тоже сбоку ухватился, он знает, что коляску мы катим вместе. Идем в парк. Не идем – шествуем торжественным маршем, и на нас смотрит и завидует весь мир.

Или много позже. Трое, в ряд на диване с тарелками макарон на коленках перед экраном – футбол! Напротив, за столом мать семейства. Украдкой любит троичей. Я перехватываю этот взгляд, тоже незаметно.

– Мужики... – загадочно, неясно кому, говорит она вслух. И на лице ее столько счастья, тихой такой, беспричинной радости.

Случались и чудеса.

Не разлепив глаз, я слышу, Николь хлопнула дверью, повела сына в детский сад. Сон наваливается снова. Но что-то мешает. Просыпаюсь и, не открывая глаз, вслушиваюсь в пустоту. Знаю, в квартире никого. И все же что-то не то. Открываю глаза, и... – прямо над головой у меня большие синие глаза. Смотрят. Девочка, увидев, что я проснулся, медленно отходит от кровати, начинает бродить по квартире. «Я же слышал, как ушла Николь. Как ребенок мог попасть в квартиру, кто она?»

– Что за кукла тут ходит по дому? – спрашиваю, когда возвращается Николь.

– Дочка моя. Ты что, не знал, что у меня и дочка есть?

– А-а-а-а, ну тогда все в порядке, а то уж думал галлюцинации.

Знакомая Николь из соседнего дома не успевала отвезти дочку в ясли, потом бежать на работу. И по утрам теперь, на время появлялась у нас синеглазая девочка.

* * *

Записки Тимофея

В те же годы появился и другой, можно сказать, настоящий друг. (Я тут все о детстве, но ведь в этом деле важен первый толчок, какой он будет?..) Да, друг, значит. Был он такого же возраста, как и тот. Мне тринадцать, а уж ему семнадцать. Взрослый уже малый. Он уж учился в художественном училище. Сразу отмечу (пока не забыл), закончил училище он через двенадцать лет, когда решил, что какой-никакой диплом ему все же нужен. Но это потом. А когда мы сошлись, он меня заражал своим творческим задором. Задор, правда, был в основном словесным. Но красивый, черт возьми. Мы таскались по музеям, ездили за город пейзажи писать. Но больше любил он поговорить: о художниках, об искусстве, о грандиозных своих планах.

Как потом уже понял я, весь он был скроен из банального фетишизма. Был у него период – рассказывал он – когда воскресным днем выходил он на улицу (где взял-то?) в белой косоворотке навывпуск, подвязанном веревочкой, и через плечо ящик с красками – этюдник, тяжелый даже пустой. Выходил просто погулять.

– А ящик зачем? – спрашивал я.

– Как, видно же сразу – художник идет.

Когда мы подружились, стиль был уже другой. Не только в обычные будни, но даже в поездки за город писать пейзаж был он в костюме: идеально отглаженные брюки, белоснежная рубашка, галстук, конечно, из рукавов скрипящие крахмалом манжеты с блестящими запонками. «Художник, – говорил он, – интеллигент и выглядеть должен всегда соответственно». И лез по грязи, апрельской лесной топи в туфлях зеркального блеска.

Захожу к нему вечером. Сидит в темноте со свечкой. Свечка в бронзовом подсвечнике. В руке гусиное перо.

– Стихи пишу. В училище не пошел.

– А чего в темноте?

– Стихи писать можно только при свечах и только гусиным пером.

– Как Пушкин?

– Так, поэтому и стихи у него такие, настоящие.

Знавал и другую такую же поэтессу. Та, по ее словам, писать могла исключительно придя в модное кафе, где модная того времени шпана собиралась. Садилась за одинокий столик, брала стаканчик вина сухого и начинала «творить». Задумчивый вид загадочной затворницы должен был возбуждать любопытство толкующихся бездельников, и они без перебора липли к ее столу. В других условиях вдохновение ее не посещало.

В целом он был веселый парень, и на детском уровне с ним было интересно. Обстоятельства снова столкнули нас уже во взрослом возрасте. Встретившись случайно, он предложил за городом на пару снять дом под мастерскую. Точнее, часть дома, две большие смежные комнаты. Хозяйка, одинокая женщина, занимала маленькую комнату в другом крыле дома. Плата назначена была более чем скромная, я согласился.

* * *

Самым неожиданным в новом мире оказалось то, что он представлял себе этот мир как вечный праздник, фестиваль искусств. Что люди со всего света съехались сюда заняться высоким искусством. А уж что касается своих соплеменников – тут никаких сомнений, – всё это избранные люди, прибыли реализовать свои возвышенные творческие замыслы. Трудно было вообразить другие причины.

Оказалось, это многомиллионная толпа определенного свойства людей, жаждущих недостающего им на Родине комфорта. С кем только не приходилось сталкиваться. Мелкие жулики, аферисты разных мастей, барышни спецназначения, бессмысленные мечтатели, искатели приключений и просто сумасшедшие.

Трудно представить, каким образом в России мог он иметь какое-либо общение с людьми настолько чуждыми, неинтересными, непонятными ему. А тут приходилось и по одним дорогам ходить, и стоять рядом, а бывало, и за одним столом сидеть. И не хочешь, наслушаешься их рассказов.

... – Мой-то на стройке в Москве работал. Французы, когда «Космос» строили, так не только специалистов, но и работяг своих навезли. Вот мой-то как раз из этих. Я тогда в «Варшаве» официанткой трудилась. Они гудели там с компанией. Натрескались до свинячки. А мой-то, Эрик, – грохнулся на пол и давай на четвереньках меж столов ползать, танец изображал. Ну, думаю, хорош, надо брать. Он вообще зашибал будь здоров, за что и выперли с работы. Не, думаю, такого упускать нельзя: дом свой в Париже – особняк (!), машина какая-то навороченная и еще много чего всякого. Тут я, крепко так, в руки его взяла; до свадьбы чтоб доработал, а там, думаю, гуляй как хочешь, – все, что положено мне, мое будет.

Так, привозит, значит, он меня в Париж, прямо в дом свой. Действительно, отдельный дом, с садом даже. Правда, под боком самой загруженной магистрали в городе, окружной – Переферик этот самый. Ну, ничего, думаю, – не по голове же они едут. А добрались уж к ночи. За день намотались – жуть. Шмотки бросили, я в ванну отмокать, расслабиться. Легла, пены напустила, расслабляюсь. Гляжу, потолок черный. Повнимательней-то уперлась глазами, а там... мать моя, звезды. Оказывается полдома без крыши, без потолка. И дом-то, оказывается, не его. Он влез просто туда, считая, что дом брошенный. Машина с наворотами. Такими наворотами, что с трудом заводилась, еще с большим трудом ездил. Месяца через три явились хозяева и нас выперли. Но уж три эти месяца я ни в чем себе не отказывала, какие-то деньги все-таки он заработал. На завтрак я себе багет, не стандартный, а толстый такой, разрежала вдоль и одну половину намазывала маслом и сыром толщиной в палец, вторую еще толще паштетом. Обед, ужин тоже нехилые и между ними перекусоны всякие. В общем за три месяца эти, я всегда-то нехуденькой была, при росте сто шестьдесят четыре весила восемьдесят пять, а тут до ста восемнадцати набрала. Это я уж потом слегка с лица спала, как с дураком этим разбежались. Но документы на год он мне все ж сделал. Теперь у меня уж на десять лет.

* * *

Записки Тимофея

Как и в детстве, так и теперь каждый день говорилось: как вот он сейчас развернется и сокрушит горы. Но вся его энергия уходила на приуготовление совершения подвигов.

Прежде всего он взялся за хозяйскую мебель. Мебели было много, когда-то жила там большая семья. Хозяйка сказала, что все лишнее можно убрать на пустовавший второй этаж. Но лишней мебели он не обнаружил, нашел лишь ее не вполне функциональной. Большой овальной формы стол человек на восемь с гнутыми ножками укоротил в половину. У большого дивана имелись высокие боковые стенки фигурной формы, в виде набегавшей волны. Стенки были отпилены, соединены вместе – получилась непонятной, залихватской формы плоскость, к которой были приделаны обрубки ног от большого стола. Вышел второй стол. Из-за оригинальной формы трудно было найти ему место.

Когда я застал его в очередной раз с пилой в руке, на вопрос мой: «Что делаешь, мебель-то хозяйская?» – Он невозмутимо ответил: «Она ей не нужна». Был изящный ломберный столик с инкрустированным верхом. Столик распилен был пополам по диагонали. Одна половина полетела, как ненужная, на чердак, другую он прибил к стене в проходе между комнатами. Получилась полочка, маленькая, треугольной формы, на уровне груди. Когда я поинтересовался, для какой надобности такое приспособление, он отвечал:

– Это идешь так из одной комнаты в другую, вдруг мысль... Тут же встал (а на полочке бумажка уже лежит), встал с карандашиком – и подумал...

Любил он эти «подумки».

За чаем, скажем, брал он попавшийся под руку огрызок бумажки, чертил прямоугольник дециметр в высоту и намечал два неясных контура. Прямоугольник то расширялся, то сужался, то превращался в квадрат, то вытягивался столбиком. Чертились прямоугольники и в семнадцать лет, и в тридцать пять, и в пятьдесят четыре; до конца дней своих. То была великая его идея, написать великую картину – «Купание мальчика». Было ведь «Купание коня» (на мой взгляд, печально-слабая картина замечательного художника). «Купание» моего друга изображаться должно в виде прямой, как палка, фигуры справа и такой же прямой, поменьше только слева, и длинная из чего-то там льет воду на палку поменьше.

Хорошо, без иронии: понятно, из самой простецкой композиции можно сделать шедевр. Но столь многолетнее приготовление могло б родить и что-то покучерявее. «Подготовиться к серьезной работе надо самым тщательным образом», – говорил он. Так и ушла вся его жизнь на подготовку. И сколько их таких, прособиравшихся.

* * *

Ну, с теми все ясно. Но не находил общего языка он и с людьми своего круга. Конечно, творческие люди – это команда эксцентриков. Никогда раньше не видел столько странных людей в одной куче. В России были они как-то разбавлены. Всякий раз его озадачивал сам смысл их существования. Их цели, планы, да и повседневная жизнь вызвали недоумение. Так, например, он знал сразу несколько персонажей, приехавших на Запад исключительно для получения Нобелевской премии, и даже в тех областях, где премия не присуждается; приехавших совершить революцию в мировом искусстве, т. е. они ее уже совершили, только никто об этом не знает, и дело лишь за малым – торжественно об этом заявить.

Заурядный фотограф, которых миллион миллионов по свету, но страшно желающий высунуться (простейший способ, замызганный до банальности, присосаться к чему-нибудь уже известному, большому), на представлении балета Мориса Бежара – полыхающей мировой звезды, создателя современного балета, из зала нащелкал кадров и притащил; а надо сказать, что безумцы, особенно безумцы наивные, бывают чертовски настырны, правдами и неправдами добился приема и притащил автору.

Войдя в кабинет с задиристым видом, веером бросил на стол десяток фоток.

– Что это? – спросил маэстро.

– Я хочу прославить Вас в веках, на весь мир!

– Благодарю, – сказал маэстро. – Я сейчас занят.

«Да, странный тип этот Бежар, – удивлялся потом, рассказывая, фотограф. – Такой шанс упустил».

Ходит по Нью-Йорку человек. Скромной от Бога полученной внешности, художник: зимой и летом наряд его, начиная от шапки, шубы и до трусов (иного и не было) – все сплошь, как витиеватый азиатский орнамент исписано одним словом – его фамилией; и ботинки, и носки, и сумочка на плече, и ремешок, штаны поддерживающий, – все. Интересно, само искусство его было самым обыкновенным, традиционным, никакой связи с его «выходом» не имеющее.

За версту узнавала его всякая собака среди эмигрантской публики, и совершенно никто не обращал внимания среди остального населения.

Прибывшие как бы за творческой свободой слабо понимают вообще, что такое творчество. Хватает их обычно на то, чтоб прийти в публичное место с жирно намазанным на лбу заборным словом из трех букв. Это все их скудное понимание свободы, скудно настолько, что повторяется у разных людей на разных даже континентах. Так, например, другой зимой и летом ходил с тем же знаком во всю спину на одежде, воображая теперь себя самым свободным человеком на земле, не соображая, что это – провинциальная выходка десятилетнего мальчишки, на которую на Западе никто не обратит никакого внимания.

Впрочем, встречались и забавные, симпатичные безумцы. И тут не грех – ну, не могу не повториться, Лимонов блистательно вывел этот персонаж в своем рассказе – не сказать несколько слов о безобидном и таком ярком чудачке, явившемся в этот мир – почудить.

Крошечную свою однокомнатную квартиру, в чем без дураков он совершенно уверен, называет ЦЕНТРОМ МИРОВОГО ИСКУССТВА. Вся она забита его только собственными работами.

Одно время, проживая в выделенной друзьями квартирке, до потолка забил душ своими холстами.

– А где ты моешься? – спрашивает хозяйка дома.

– Мне мыться не надо, – гордо отвечал красавец голливудской внешности. – Я святой!

Но исключения такие редкость, в большинстве были они смешны и жалки.

Как-то вместе с приятелем появился забавный человек. На голове широкополая шляпа и, несмотря на теплую, по парижской зиме погоду, в длинной меховой шубе (солидности ради). Войдя, памятником откинув голову, представился – писатель! И взгляд его некоторое время еще блуждал где-то под потолком. Позже Тимофеем прочел написанную в молодости еще, изданную в России, его книгу, очень даже небездарную и оказавшуюся единственной за весь его литературный путь. Прожив на Западе более сорока лет, ничего другого не появилось. Но всякий раз при встрече выдавал грандиозные планы.

– Бестселлер вот пишу, – на меньшее он не согласен; и начинал подробно излагать идею.

Или, вернувшись с отдыха в Биарриц, с восторгом рассказывал об апартаментах, в которых удостоился побывать.

– Представляешь, окна прямо в океан. Спальня, гостиная – это чтоб гостей принимать, дальше, значит, кабинет рабочий, а какой стол там был... лоджия большая, выходишь утром...

Тимофеем слушал и не понимал, зачем ему кабинет?.. Впрочем, ясно, рассказ должен был подчеркнуть размах личности рассказчика, показать соответствие этих понятий: личность и окружение.

Если назначалась встреча, то обязательно в местах, что гнутся уж под тяжестью своей истории, описанных уж и Хемингуэем, и Миллером, и другими, в которых сидел, наверное, еще Мопассан. Других мест найти просто невозможно.

Другой творческий человек, очень похожий на первого, очень деловой; за день у него целый букет деловых свиданий, и всегда все происходит исключительно в одном и том же кафе – «Сара Бернар». Кафе находится напротив театра, и Сара, видимо, заскакивала туда по соседству. И вот, став завсегдатаем заведения, таким образом – хотелось думать ему – приблизился или даже сопоставим стал с ЭТОЙ личностью.

И что? В этом и есть цель их приезда? Шляться по затертым историей местам, может, думают, сами станут частью этой истории?

Смешные люди...

* * *

Итак. Предложений было больше, чем нужно. Тимофей был в растерянности. Принимать все предложения разом он бы не потянул, а главное – не позволили бы этого и сами галереи.

Принял предложение – принадлежишь им уже с потрохами. Надо было что-то решать, но мыслить, действовать по-деловому, да с дальним прицелом он не умел, предоставляя судьбе самой рулить в нужном направлении.

В Париже прошла уже его выставка, и, хотя в коммерческом плане превзошла все ожидания, большого удовлетворения Тимофей не чувствовал. Не совсем нравилось ему направление галереи.

Однажды он обратил внимание на витрину галереи напротив: вся улица практически состояла из галерей. Он зашел. Помещение оказалось крошечным, но миниатюрки на стенах поражали не меньше той, большой, что была на витрине. Великовозрастная дама, сидевшая за столом, сразу определила непраздный интерес посетителя.

– Вы художник?

В руке Тимофея был каталог его выставки. Он протянул даме.

– Ах, это вы... Я заходила, видела вашу выставку. – И дальше, как показалось Тимофею, бесцеремонно-нахально: – Вам не место в такой галерее, вы достойны другого уровня. Вам нравится, что у меня висит?

– Да, очень.

В ответ она самоуверенно улыбалась, только глазами.

– Я предложила бы вам выставку, но у меня маловато помещение для ваших работ. Но скоро должно появиться серьезное пространство, и тогда буду рада вас видеть.

«Чертовски самоуверенна, – размышлял Тимофей. – Но ведь что она показывает, действительно здорово».

В другой раз, проходя узкой улочкой старого Марэ, его окликнули. Обернулся – подбоясь у двери стояла высокая старуха, та самая галеристка.

– Привет, – сказала так, как если бы они общались каждый день. – Далеко идешь?

– Просто иду.

– А я тут живу. Заходи, – и, не дожидаясь ответа, стала подниматься по лестнице.

Все там было помпезно, величественно. Дом шестнадцатого века, потолки высоченные. Стены сплошь увешаны картинами, как малышками, так и размеров громадных. Еще более громадны были имена тех, кто висел на этих стенах, – генералы, нет, генералиссимусы изобразительного искусства двадцатого века.

Старуха усадила его за стол, достала бутылку виски, большие, тяжелые стаканы.

– Я не пью, – робко запротестовал Тимофей.

– Ну, уж со мной-то не получится, – и бухнула сразу по хорошей дозе.

* * *

Маленькой девочке в далекой от больших городов деревеньке среди бразильских джунглей отец принес чудо техники – радиоприемник. Не игрушку забавы ради, а необходимый предмет для ее образования. Повзрослев, отправилась за тысячи километров в Сан-Пауло, в университет. Там сошлась с художниками, влюбилась в изобразительное искусство. А вскоре отправилась и через океан, в Париж, в Сорбонну. С собой она прихватила работы друзей своих, бразильских художников, носилась с ними где только могла. Высокая, с гордым профилем красавица развила бурную деятельность и вскоре стала своей во всех высших кругах парижского (считай, мирового) артистического мира. Среди ее друзей оказались киты изобразительного искусства. Вот теперь и висели их подношения на этих стенах. Благодаря ей вышли на мировой уровень и многие латиноамериканцы.

Жизнь старухи (Тимофей заслушался) – был захватывающий роман, с ее многочисленными романами.

Позже появилась и новая, солидная галерея. Незамедлительно он получил приглашение на выставку, но, не успевая сводить концы с концами, выставка без конца откладывалась – так и не состоялась. Но на юге, в замке, где она создала свой музей, повисли, конечно, и его работы.

* * *

Записки Тимофея

А действительно, зачем я это все пишу? Может, Николь права – пустая трата времени. Нет, напишу вот на бумаге, и никуда уже не денешься – документ. И попробуй тогда вилять хвостом, про уродов вспоминаешь, а сам-то... Так уж правильно все делал? В себе покопаться надо.

* * *

Позвонил однажды человек, сказал, что видел в одном доме его рисунок, хотел познакомиться. Оказался он совсем молодым человеком. Как потом выяснилось, принадлежал он к одной из самых знаменитых французских аристократических фамилий. Дед его был национальным героем Первой мировой. Отец просто довольно богатым человеком.

– Я, – говорил он, – недавно закончил университет и хочу посвятить жизнь искусству, дать новое его понимание. Считаю, что современное искусство заблудилось, идет не в ту сторону. И то, что вы делаете, как раз соответствует моей идее.

(Потом Тимофей пришел к пониманию, что соответствовать чьей-то идее – это тяжелая ноша.)

Купил две большие картины, которые заняли место в отеле, одном из многих по всей Франции, принадлежавших его отцу.

Ален (его имя) стал бывать чуть ли не каждую неделю, его интересовал каждый этап работы. Однажды он заявил, что хотел бы Тимофею каждый месяц выдавать определенную сумму.

– Зачем? – Тимофей испугался.

– Ну как... чтоб вы не были ни в чем стеснены, у вас двое детей, чтоб вы могли не задумываясь тратить на материалы столько, сколько понадобится. Не думать, что необходимо зарабатывать на нужды семьи.

– Нет, нет, нет, Ален, нам вполне хватает. Это у нас – две табуретки, сломанный стул – стиль жизни такой, вокзальный.

Ален был расстроен, но давить не стал. На самом деле деньги не помешали бы, но тут, как ни крути, накладываются некие обязательства, чего Тимофей страшился пуще огня.

В марте рассыпалась цветами парижская весна, прохладная по обычаю. Желтыми солнечными клубами вспыхнули повсюду какие-то кустарники: такие яркие, пышные, сразу сломали зимнюю однообразную серость.

Ален привел Тимофея в большое помещение со стеклянной крышей.

– Вот, с октября открываю тут галерею. Я набрал команду художников, соответствующих моему направлению, и собираюсь за сезон провести десять выставок.

Показывал фото с их работ. Глаза его вспыхивали, пускался анализировать каждого.

– Но все же, скажу вам, – больше всего меня интересуют ваши работы. Поэтому я хотел бы открыть галерею вашей выставкой. Октябрь устраивает?..

Отношения их с Аленом выстраивались так, что Ален не спрашивал о планах Тимофея, ни прежних, ни будущих. Он предлагал свои. Тимофей слушал. Ален не ставил никаких жестких условий, не интересовался, связан ли Тимофей с другими галереями. Тимофей же считал глупым попусту хвалиться имеющимися предложениями, когда не спрашивают, если это не противоречит предложениям Алена.

Между тем с крупной берлинской галереей подписан был контракт на выставку, на февраль следующего года, и работы для выставки находились уже в Берлине. Кроме того, еще до знакомства с Аленом Тимофей задумал поездку в Нью-Йорк. Никаких противоречий тут не было, Тимофей без колебаний принял предложение Алена. Последней этой встречей поставлены были все точки над «I», а вскоре Тимофей отправился за океан.

* * *

В Нью-Йорке был бум. И конечно же Тимофею интересно было оказаться там: примерить и на себя это одеяло. И что же? И там оказался неожиданный успех. Он не строил никаких планов, задача была показать и получить оценку. В результате приглашений на выставки оказалась целая обойма.

Опять головная боль.

Сам Нью-Йорк восьмидесятых представлял собой картину интересную. Роскошные улицы, по которым шагают башни-великаны во всем своем блеске и величии, обрываются вдруг и продолжают свой ход заваленными баррикадами мусора. Вдрызг разбитые по всему городу дороги. Проезжая по знаменитой *Wall Street*, где крутится основной капитал планеты, по ухабам, – тут держись, кабы не вылетели зубы. А среди обыкновенной городской застройки можно увидеть настоящие индейские вигвамы с их обитателями. И даже в Манхэттене (не будем удаляться в другие районы, там уже совсем другая песня и о каждом можно написать книгу) наткнуться можно на районы с сожженными домами, без окон, с вросшими в землю ржавыми, без колес авто.

Тимофею нравится этот безумный ералаш. Как художественная форма. Отдельный интерес представляли машины. Наряду с дорогими, лучших мировых марок или отечественных лимузинов – как корабли (при виде такого чудовища Тимофея всякий раз посещала мысль, не раз видел в кино: как пассажиры такого салона не спеша тянут маленькими наперсточками вкусный ликер, как это удается по таким дорогам?) – шныряют раскуроченные телеги. С побитыми боками, это в порядке вещей; без лобовых стекол, без капота. Или так, через дыры, ломом пробитыми, капот прихвачен гигантским амбарным замком. Машины без дверей, машины без бампера и т. д. Если машина едет, значит на ней ездят.

В одной галерее получил Тимофей заманчивое предложение. Старик, владелец галереи, как потом узнал Тимофей, многие мировые звезды вышли из-под его руки, – настоящий «монстр». Сам он утверждал, что он «сделал» все современное американское искусство. Но простим старику его заблуждение за истинные его заслуги.

Итак, Тимофей с двумя помощниками держали развернутые из рулона холсты. Легендарный старик долго, внимательно разглядывал работы, Тимофей – старика. Наконец тот заговорил. Вначале прошелся, а как же иначе, по именам, коих он возвеличил, затем к делу:

– Поздравляю, превосходно. Я могу сделать вам выставку через два года, до того все время расписано.

Тимофею показался такой срок нереальным, забыв, что берлинская выставка была назначена за год вперед, причем вставили Тимофея в середину очереди, кого-то подвинув.

– Главное, – продолжал старик, – чтоб эти замечательные вещи не уезжали из Америки, все должно оставаться здесь. Сделаем так: вы надевайте холсты на подрамники, находите квартиру в хорошем месте и недалеко, делаете там экспозицию, как будет все готово, сообщайте мне адрес. И, если уж вам так нейдет, но лучше, если бы все же остались в Нью-Йорке, – поезжайте в свою Европу, а я буду водить туда коллекционеров, прессу и т. д. За два эти года серьезную работу проделать надо, подготовить публику к вашей выставке. Они придут смотреть уже известного, интересующего их художника. Итак, желаю удачи, не тяните с этим делом, и как все будет готово, жду вас у себя.

Тонкая игла шпилья вскинулась к небу, затертая меж громад даун-тауна, угрожающих раздавить ее, ничуть не теряет своего величия и кажется еще более хрупкой и изящной. Тимофей взял кусок пиццы и пристроился среди сидящей толпы. Полдень, кажется, весь даун-таун вылез из своих нор. Со скамейками в этом городе туго. Тимофей пристроился на свободный камень, жадно стал рвать зубами обжигающее тесто. «Удачное место, – отметил Тимофей, – скрыто от палящего солнца и присесть можно. То-то тут людей не проломиться». А на чем это он уселся, интересно? Глянул между ног и обнаружил могильную плиту. Господи, неловко-то как. Он встал, соображая, куда можно направиться, но обратил внимание, что все могильные плиты как мухами усижены были жующими свои сандвичи. Тимофей опустил на свое место.

Остаться в этом городе... Старик человек дела, никакие доводы в обратном направлении не имеют для него смысла.

Тимофей заметил, что с его ракурса шпиль проецировался на небе ровень с окружающими громадами и казался парящим высоко над ними. В глазах стоял последний день перед отъездом. Младший только начал нормально ходить и кое-что говорить. Старший по осени пойдет в подготовительный класс школы. Держа в каждой руке по крошечной ручке, они идут в парк недалеко от дома. На краю тропинки вылезло широколистное чудовище с острыми шипами. Младший приседает, тянется к нему и, не доведя пару сантиметров, резко одергивает руку и смешно прячет за спиной. «Колюч», – говорит он. И, вспоминая это мило произнесенное слово, у Тимофея перехватывает горло. Старший смотрит остановившимися большими глазами: «Не хочу, чтобы ты уезжал», – выдавливает туго, будто тоже только начал говорить.

На какую карьеру можно поменять такие глаза?..

Не стал бы Тимофей ломать голову над такой заковыристой комбинацией. Но подвернулся – такой вариант.

В Ист-Виллидже сели в суши-бар. Тимофей, Маша, его знакомая, и ее муж Майкл. Майкл прибыл из провинции, молодой начинающий адвокат. В делании блестящей карьеры настроен решительно. В уважаемом районе снял большую хорошую квартиру. Жену отхватил красавицу – тоже важный элемент в деле. Он был весельчак, но сквозь веселье во всем торчала деловая хватка.

– Какая тематика твоего творчества? Ага... Значит, тебе (на «ты» на третьей минуте знакомства; профессиональное чутье – с кем и как) надо обращаться в организации, крупные

корпорации, банки, занятые в этой области, и получить их поддержку: ты популяризируешь их дело, они поддерживают тебя.

Просто чтоб поддержать разговор, Тимофей рассказал о предложении старика. Майкл вспыхнул.

– Почему бы не сделать такую постоянную экспозицию в нашей квартире? Маша могла бы в любое время принимать гостей.

Майкл нуждался в расширении связей, создавал будущую клиентуру. Ему было выгодно, лестно, приглашая важных нужных людей, чтоб квартира его выглядела оригинально, увешанная современным искусством: еще один штрих к созданию своего образа.

Назавтра у них была запланирована поездка на Лонг-Айленд, на весь день. Майкл дал Тимофею ключи от квартиры, сказал:

– Привози картины, развешивай на свой вкус, стены пустые.

Следующим утром с помощником – тот заказал фургон, помогал грузить – привезли к Майклу десяток больших картин.

– Ого, вот это квартира, – сказал помощник. – Да тут музей можно устроить.

Леня из наших бывших, из тех, что не знают, зачем они тут явились. Бессмысленный, беспросветный бездельник, получает свой ВЕЛФЕР – маловато, конечно, но, учитывая, что ни за что, то уже неплохо. Не пропускает ничего, где что можно получить даром, а при случае и умыкнуть. В Америке он сразу стал называть себя Леон.

Осмотревшись, тут же полез в холодильник.

– Смотри, у них тут полно жратвы.

Входя в кухню, Тимофей застал Леона с ополовиненной бутылкой коньяка в руке, из которой тот успел отхлебнуть пару глотков.

– Ты чего делаешь, ты в чужом доме.

– Да что им жалко, что ли, тут полный холодильник.

– Прекрати немедленно.

Но Леня не собирался выпускать бутылку из рук и продолжал копаться в холодильнике. Тимофей понял, что воевать с этим обсосом бесполезно и некогда.

– Послушай, ты сейчас ничего тут не трогаешь, когда мы выйдем, я куплю тебе такую же бутылку, целую.

Сообразив, что целое лучше ополовиненного, Леон сразу присмирел.

Вечером позвонила Маша.

– Ну, просто дико, дико красиво. Майкл еще не вернулся, умчался по другим делам. Приедет, будет в восторге.

Утром разбудил Машин звонок.

– Кошмар, Майкл не спал всю ночь и сейчас вот просто сбежал из квартиры. Тебе придется срочно забрать картины обратно. У Майкла сделался сильнейший приступ аллергии.

Картины пахнут.

Пришлось опять видеть Леона-Леню, опять стойка на голове.

Аллергия бывает, конечно. Это надо же, у такого румяного здоровяка... Но закрадывалось у Тимофея подозрение, что Майкл, увидев свои стены, пришел в ужас, примерив ЭТО на свою публику. Прибавят ли веса ему подобные картинки? Хотя во вкусах зрителей и черту разобратся трудно. Так, например, в Нью-Йорке крупный бизнесмен украсил главный зал своего офиса, где проходят переговоры, заключаются серьезные сделки, картиной Тимофея, изображавшей компанию развеселых забулдыг. Такая же примерно повисла в офисе московского делового человека. А однажды, неожиданно для себя Тимофей сделал картину на эротическую тему. В Париже на выставке подошла к нему сухонькая старушка, пожирая его глазами, сказала, что это гениально, что никогда не видела ничего подобного.

Неожиданно позвонил Ален. Он был в панике.

И вопрос и тон были странны. Вроде разговора с нашкодившим пятилетним ребенком. Тимофей не знал, что отвечать на это.

– Ален, в чем проблема?

– У нас же выставка, вы забрали работы, уехали в Нью-Йорк.

– Сейчас май, выставка в октябре. Через две недели я возвращаюсь в Париж.

– Но зачем вы забрали работы?

– Из тех, что отобраны для выставки, я взял две, я хотел их показывать и безусловно привезу обратно. В этом и цель моей поездки – увидеть свои работы в другом окружении. До выставки достаточно времени, волноваться нет причин.

Разговор закончился на том, что все идет как надо, проблем не предвидится. Ален успокоился. Но через день Ален позвонил снова и звонил затем каждый день, а то и по нескольку раз в день. Выдвигал нелепые доводы, обвинения, как капризная барышня.

– Я же говорю, Ален, работы, намеченные для выставки, будут в Париже.

– А если вы не вернетесь?

– Да как же это? Вернусь обязательно.

Кончилось тем, что он объявил:

– Я не могу рисковать, готовить выставку, когда и вы и работы находятся за океаном. Увы, я вынужден разорвать наш договор. Я уже потратил значительные средства. Заказал плакат, внес аванс за каталог, пригласительные, оформил графику... Я хотел бы получить в виде неустойки две картины. Если вы согласны, скажите, какие картины я могу взять.

– Я тоже сожалею, – отвечал Тимофей, – что не могу убедить вас в обратном. Картины можете взять любые.

Ясно, что опасаться Алену было нечего. Была простая человеческая ревность. Ален влюбился в Тимофея, считал, что сделал открытие, и готов был на многое для Тимофея, готов не только вкладывать деньги, но грызться за него зубами. Тимофей не понял вовремя этой глубины. Нью-Йорк был принят Аленом как предательство.

Через год Тимофей зашел на парижскую ярмарку искусства, каждую осень устраивается в *Grand Palais* — самой большой выставочной площадке Парижа – такое представление. Один стенд привлек его внимание. Название галереи ни о чем ему не говорило. Он шагнул вглубь пространства и почти столкнулся с Аленом. Растерялись оба.

– Это ваша галерея? Поздравляю.

Ален стоял с каменным лицом, затем истерически почти взвизгнул:

– Да, это моя галерея.

Метнулся к маленькому шкафчику, выхватил бутылку коньяка, плеснул полстакана и залпом выпил.

* * *

Записки Тимофея

А Игорек? Тоже хорош был. Энергичен невозможно, только для дела энергия эта никогда не доставала. Хватало лишь для создания петушиного образа или скандала, где можно полюбоваться собой.

Выставку он, помню, устроил. Знакомый его изостудией руководил. По воскресеньям собирались с десятков девчонок да пара-тройка бабушек-пенсионеров и рисовали натюрморты с яблоками. Аудитория как раз для его представления.

Однодневная выставка. Объявлено о выставке было заранее. Кое-кто из девчонок притащил подруг.

Выставлена была лишь одна работа – автопортрет. Собравшимся произведение было представлено на манер открытия памятников, сдернув закрывающую портрет тряпку. В

более натуральной величине изобразил он часть своего тела – от пупка до чуть выше колен – со спущенными штанами. Дальше он подходил ко всем (девчонки сидели уткнувшись в пол) и требовал высказать свое мнение...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.